

В. Н. МУРОМЦЕВА-БУНИНА

Жизнь Бунина

1870 — 1906

ПАРИЖ

1958

Дорогому Клею Любимову
в знак стойкого дружеского отношения
сердечно и его любящую
Вера Муромцева - Бучина.

Париж,

9 XI 58

В. Н. МУРОМЦЕВА-БУНИНА

Жизнь Бунина

1870 — 1906

ПАРИЖ

1958

Tous droits réservés.
Copyright 1958 by the author.

ПРЕДИСЛОВИЕ

С большим волнением приступила я к работе над этой книгой. Озаглавила я ее «Жизнь Бунина» потому, что некоторые критики, к большому возмущению Ивана Алексеевича (он выступал даже по этому поводу в печати), называли и называют его роман «Жизнь Арсеньева» автобиографией. В тексте я указываю, что в романе многие события, имевшие место в действительности в одном городе, перенесены и приписаны другим лицам, что в «Жизни Арсеньева» нарушена хронология или же воедино соединены события, — например, отъезд Анхен в Ревель и появление первого стихотворения Алеши Арсеньева происходят в одно время, тогда как в жизни Бунина эти события разделены двумя годами. Особенно изменена книга пятая в «Жизни Арсеньева»: в романе иначе разворачивается полтавский период, чем это было в жизни Бунина. Героиня романа Лика — тоже не В. В. Пашенко, как по внешности, так и по душевным качествам. Я нашла заметку Ивана Алексеевича: «Лика вся выдуманна».

Конечно, в «Жизни Арсеньева» очень много биографических черт, взята природа, в которой жил автор, но всё художественно переработано, и подано в этом романе творчески, и, может быть, подано так потому, что автору хотелось, чтобы это было так в его жизни.

Автобиографичны и чувства автора в «Митиной любви», хотя в этом произведении ничего нет из жизни Бунина.

Кроме автобиографического конспекта (с 1881 по 1907 гг.), заметок, кратких дневников Ивана Алексеевича, я пользовалась воспоминаниями его родных, рассказами родственников, с которыми я прожила в большой близости одиннадцать лет, как раз в тех местах, где протекало детство, отрочество и юность Ивана Алексеевича и где он часто и в зрелом возрасте проводил недели и месяцы.

Конечно, всех нужных материалов у меня под рукой нет, и поэтому я не могу назвать эту книгу биографией, а рассказываю жизнь Бунина, как я ее знаю.

Бунины любили вспоминать, представлять, рассказывать о близких и знакомых, подчеркивая всегда их характерные черты.

До сих пор мало известна жизнь Ивана Алексеевича между 1895 и 1898 годами, мало кто знает и о его первом путешествии по Европе (с его другом Куровским), и о его пребывании в Константинополе «незабвенной весной 1903 года».

Приношу большую благодарность Софье Юльевне Прегель и Леониду Федоровичу Зурову за их поддержку во время моего писания и за добрые советы, которые они мне давали. Благодарю и княгиню Маргариту Валентиновну Голицыну за те сведения, которыми она поделилась со мной о жизни Бунных в Озёрках, а также и баронессу Людмилу Сергеевну Врангель, от которой я узнала кое-что новое в жизни Ивана Алексеевича, когда они оба были молоды. Спасибо Александру Кузьмичу Бабореко, который во время моей работы посылал нужные данные для моей книги.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Разбирая бумаги Ивана Алексеевича, я обнаружила среди них интересную запись, с которой и начинаю эту книгу.

«23 октября 1870 (10 по старому стилю), 11 ½ ч. вечера.

. . . . «70 лет тому назад на рассвете этого дня (по словам покойной матери) я родился в Воронеже, на Дворянской улице».

«Тогда мне казалось, да и теперь иногда кажется, что я что-то помню из жизни в Воронеже, где я родился и существовал три года. Но все это вольные выдумки, желание хоть что-нибудь найти в пустоте памяти о том времени. Довольно живо вижу одно, нечто красивое: я прячусь за портьеру в дверях гостиной и тайком смотрю на нашу мать на диване, а в кресле перед ней на военного: мать очень красива, в шелковом с приподнятым расходящимся в стороны воротником платье с небольшим декольте на груди, а военный в кресле одет сложно и блестяще, с густыми эполетами, с орденами, — мой крестный отец, генерал Сипягин».

«Еще вспоминается, а, может быть, это мне и рассказывала мать, что я иногда, когда она сидела с гостями, вызывал ее, маня пальчиком, чтобы она дала мне грудь, — она очень долго кормила меня, не в пример другим детям.»

Мать его, Людмила Александровна, всегда говорила мне, что «Ваня с самого рождения отличался от остальных детей», что она всегда знала, что он будет «особенный», «ни у кого нет такой тонкой души, как у него» и «никто меня так не любит, как он...»

«В Воронеже он, моложе двух лет», — вспоминала она со счастливой улыбкой, — «ходил в соседний магазин за конфеткой. Его крестный, генерал Сипягин, уверял, что он будет большим человеком... генералом!»

В Воронеже Бунины поселились за три года до рождения Вани, для образования старших сыновей: Юлия, который родился на 13 лет раньше Вани, и Евгения, который был на год моложе Юлия. Выбрали они этот город потому, что были еще у них имения в этой губернии, и там жили родственники Бунины, помещики и домовладельцы.

Юлий был на редкость способным, учился блестяще. Например, пока учитель диктовал экстенпорале по-русски, Юлий писал по-латыни. Способен он был и к математическим наукам.

Евгений учился плохо, вернее, совсем не учился, рано бросил гимназию; он был одарен, как художник, но в те годы живописью не интересовался, больше гонял голубей.

Отец, Алексей Николаевич, живя в Воронеже, не пил, и Иван родился в трезвый период его жизни. Зато он предавался другой своей страсти — картам, проводя каждую ночь в клубе, проигрывал свое, а потом и женино состояние.

Людмила Александровна, рожденная Чубарова, происходила тоже из хорошего рода. Она была дальней родственницей Алексею Николаевичу, и в ней текла бунинская кровь. Мать ее была в девичестве Бунина, дочь Ивана Петровича.

Людмила Александровна была культурнее мужа, очень любила поэзию, по-старинному нараспев читала Пушкина, Жуковского и других поэтов. Ее грустная поэтическая душа была глубоко религиозной, а все интересы ее сосредоточивались на семье, главное, на детях.

В 1874 году Бунины решили перебраться из города в деревню, на хутор «Бутырки», в Елецкий уезд, Орловской губернии, в последнее бунинское поместье. В эту весну Юлий кончил курс гимназии с золотой медалью и осенью должен был уехать в Москву, чтобы поступить на математический факультет университета.

Бутырки находились в глуши Предтечевской волости. Поля, поля — и среди них усадьба. «Зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав, цветов... И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание...» Так через много лет воскресли эти детские воспоминания в «Жизни Арсеньева». Туда, распрощавшись навсегда с Воронежем, отправилась вся семья Буниных в просторном дормезе сразу после экзаменов Юлия.

Однажды летом, когда мы жили с Иваном Алексеевичем в Васильевском после 1907 года, в имении его двоюродной сестры, Софьи Николаевны Пушешниковой, мы с ее сыном Колей и с Юлием Алексеевичем ездили туда, где был хутор Бутырки, на месте которого колосилось, действительно, «море хлебов»... Иван Алексеевич все же указал место дома, варка, сада... Он с грустным видом долго слушал полевою овсяночку и неожиданно воскликнул: «Да это не Босфор, не Дамаск, не Италия и даже не Васильевское! Это мое грустное детство в глуши!...» А мне эта глушь несказанно понравилась тишиной и простором.

По возвращении из Воронежа Алексей Николаевич Бунин быстро приспособился к деревенской жизни. Он, вообще, жил настоящим, совершенно не умел унывать. Быстро возобновил дружбу с родными и знакомыми соседями. Завел легаша, гончих, борзых. Охотился, — он был лучшим стрелком в округе, попадал в подброшенный двугривенный. И, к несчастью, опять начал пить. Пил и в одиночестве, иногда по четверти водки в сутки, а затем отрезвлялся молоком, любил и сладкое, так что типичным алкоголиком не был. Иногда бывал буен во хмелю, но не первые годы в деревне, а, вероятно, когда начала давать себя знать печень. Хозяйством занимался спустя рукава, долги росли, и бедная Людмила Александровна имела много оснований жить в большой тревоге и глубокой печали.

В деревне она почувствовала одиночество: в Воронеже Алексей Николаевич почти никогда не отлучался надолго, были и знакомые, и

родные. А здесь он неделями пропадал на охоте, гостил у соседей, а она только по большим праздникам ездила в село Рождество, да к матери в Озёрки. Старшие сыновья были заняты своим: Юлий по целым дням читал Добролюбова, Чернышевского, так что нянька говорила ему: «Если будете так все время в книжку глядеть, то у вас нос очень вытянется...» Да и жил он в деревне только на каникулах, и у матери сжималось сердце при мысли, что ее первенец вот-вот уедет за четыреста верст от дому! Евгений немного занимался хозяйством, это было ему по душе; ходил на «улицу», — на сборище деревенской молодежи, где под гармонию плясали и «страдали». Страдательными назывались ритмические, протяжные, рифмованные строчки. Он купил себе дорогую гармонию-ливенку и все досуги упражнялся на ней. И мать все время проводила с Ваней, все больше привязываясь к нему, избаловала его до-нельзя.

А он, попав на деревенский простор, прежде всего поразился природой, и ему запомнились, как он пишет в «Жизни Арсеньева», не совсем обычные в младенчестве желания:

Взобраться на облачко и плыть, плыть на нем в жуткой высоте, или просьба к матери, когда она его убаюкивала, сидя на балконе, перед сном, дать ему поиграть со звездой, которую он уже запомнил, видя ее из своей кровати. Через тридцать восемь лет, тоскуя по матери, умершей за два года до того, он писал стихи, начинающиеся:

— Дай мне звезду, — твердит ребенок сонный, —
Дай, мамочка
.....
— Дай, мамочка... Она с улыбкой нежной
Берет худое личико: — Что, милый?
— «Вон ту звезду...» — «А для чего?» — «Играть...»
.....
.....

И кончается:

*Прекрасна ты, душа людская! Небу
Бездонному, спокойному, ночному,
Мерцанью звезд подобна ты порой!*

За природой в сознание Вани входят животные. И только с переходом из младенчества в детство жизнь его начинает наполняться людьми, хотя в ту пору он совсем не помнит братьев; вероятно, они на него не обращали внимания, — слишком велика была разница в возрасте. Между старшими сыновьями и Ваней было четверо детей: три сына — Анатолий, Сергей, имя третьего Иван Алексеевич забыл, и одна дочь Олимпиада.

После матери, которую он запомнил еще в Воронеже, он осознал няньку, отца, новорожденных сестер, слуг и, наконец, пастушат.

Самое сильное из радостных событий его детства была поездка в Елец, — ему нужно было купить сапожки, и родители взяли его с собой в город.

У ребенка эта поездка оставила глубокий след. В «Жизни Арсеньева» Бунин так пишет о ней: «Эта поездка, впервые раскрывшая мне радости земного бытия, дала мне еще одно глубокое впечатление». На возвратном пути из города, где его очаровали и берестовая коро-

бочка с блестящей ваксой, и сапожки, о которых кучер сказал: «В аккурат сапожки», и эти слова запомнились Ване на всю жизнь, и подаренная плетка со свистком, а главное «звон, гул колоколов с колокольни Михаила Архангела, возвышавшейся надо всем в таком великолепии, в такой роскоши, какие не снились римскому храму Петра, и такой громадой, что уже никак не могла поразить впоследствии пирамида Хеопса», он увидел за решеткой тюремного окна узника, «с желтым пухлым лицом, на котором выражалось нечто такое сложное и тяжелое, чего я еще тоже отроду не видывал на человеческих лицах: смешение глубочайшей тоски, скорби и тупой покорности, и вместе с тем какой-то страстной и мрачной мечты», как не раз рассказывал он мне и писал в «Жизни Арсеньева».

Года через два родились сестры Вани, одна за другой: сначала Мария, потом Александра. И его перевели спать к отцу. С этого времени у мальчика начинается восхищенная любовь к нему и увлечение холодным оружием, висевшим по стенам кабинета.

Алексей Николаевич Бунин принадлежал к тем редким людям, которые, несмотря на крупные недостатки, почти пороки, всех пленяют, возбуждают к себе любовь, интерес за благость ко всем и ко всему на земле, за художественную одаренность, за неиссякаемую веселость, за подлинную щедрость природы.

В его доме даже во времена крепостничества никого не наказывали. Никаких наказаний не существовало и для детей. Рассказывали со смехом, что однажды он, рассердившись, повел старших сыновей в сад, чтобы они сами себе сорвали для порки прутья, но на этом дело и кончилось, розги были сломаны, и отец их отпустил, сказав, чтобы в будущем они вели себя хорошо.

Маленький Ваня рос, окруженный лаской и любовью. Но в душе его жила грусть. Услышав от взрослых фразу: «Ему и горя мало», и поняв ее по-своему, он стал часто задумываться, сидя у окна с ручонкой под подбородком, и однажды, на вопрос, что с ним, — отвечал: — У меня горя мало.

В детстве он картавил, не произносил буквы «р». Он думает, что это было из подражания кому-нибудь, ибо когда брат Евгений накричал на него за это, — ему было уже лет восемь, — он сразу перестал картавить. Но в детстве, выходя из себя, если не исполнялось его желание, он падал на пол и кричал: «Умиаю-ю! умиаю-ю!»

С очень раннего возраста обнаружили в мальчике две противоположные стороны природы: подвижность, веселость, художественное восприятие жизни, — он рано стал передразнивать, чаще изображая комические черты человека, — и грусть, задумчивость, сильная впечатлительность, страх темноты в комнате, в риге, где, по рассказам няньки, водилась нечистая сила, несмотря на облезлую иконку, висящую в восточном углу. И эта двойственность, с годами изменяясь, до самой смерти оставалась в нем. Все, кто соприкасался с ним, хорошо знали его первые свойства, но очень немногие, только близкие по духу, знали о его других чертах.

Эта двойственность зависела от резко противоположных характеров родителей.

Мать имела характер меланхолический. Она подолгу молилась перед своими темными большими иконами, ночью простаивала часами

на коленях, часто плакала, грустила. Все это отражалось на впечатлительном мальчишке.

А тревожиться и горевать у неё уже были основательные причины: долги все росли, дохода с хутора было мало, а семья увеличивалась — было уже пять человек детей.

Уравновешивал грустную атмосферу дома отец. Он, когда не пил, за столом бывал всегда весел и оживлен, хорошо рассказывал, представлял всех в лицах. Особенно часто вспоминал Севастопольскую кампанию, когда они с братом Николаем, рано умершим, с собственным ополчением отправились на войну. Повествовал, как их по городам встречали колокольным звоном, как он играл в карты с писателем Львом Николаевичем Толстым... Оба они с братом в то время были холостыми и изрядно порастрясли свое состояние. До Севастопольской кампании он никогда не брал в рот вина, а там попробовал. Все эти рассказы очень волновали маленького сына, а когда он подрос и стал читать «Детство и отрочество» и «Севастопольские рассказы», то восторгу не было границ. И этот писатель живет всего в ста верстах от них!

В детстве он впервые ощутил смерть: деревенский мальчишка из пастушат сорвался вместе с лошастью в Провал, находившийся в поле за усадьбой, нечто вроде воронки с илистым дном, покрытой бурьяном и зарослями.

Вся усадьба кинулась спасать, но и пастушонок, и лошадь погибли. Слова: «мертвое тело», сказанные при Ване, ужаснули его. Он долго жил под впечатлением этой смерти. Часто смотрел на звезды и все думал: «На какой душа Сеньки?»

Вот как он сам пишет об этом в «Жизни Арсеньева».

«Люди совсем не одинаково чувствительны к смерти. Есть люди, что весь век живут под ее знаком, с младенчества имеют обостренное чувство смерти (чаще всего в силу столь же обостренного чувства жизни). Протопоп Аввакум, рассказывая о своем детстве, говорит: «Аз же некогда видех у соседа скотину умершу и, той ноци восставши, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть...» — «Вот к подобным людям принадлежу и я».

Когда подросла Маша, то он стал с ней проводить свои досуги. Иногда он будил ее на заре и уговаривал пойти «встречать зюю», обещая ей рассказывать сказки. И, если она соглашалась, то они через окно выскакивали в сад, и он вел ее за ручку на гумно и, чтобы она не заснула, исполнял обещание. Любимой его сказкой была «Аленький цветочек», рассказывал он и в ту пору хорошо.

Любили дети проводить время и в каретном сарае. Особенно бывало уютно куда-то ехать в дедовском возке, и тогда он тоже рассказывал сестренке всякие истории. Нравилось им на дворе прятаться под края каменного корыта, вросшего в землю.

Много времени они проводили летом и с пастушатами, которые научили их есть всякие травы, буйно росшие за огородом, за кухней, за варком. Но однажды они чуть не поплатились жизнью. Один из пастушат предложил им попробовать белены. Родителей не было дома, но их решительная няня, узнав об этом, стала отпаивать детей парным молоком, чем и спасла их.

Его стихи «Дурман», написанные через несколько десятков лет, были отчасти автобиографические.

*Дурману девочка наелась.
Тошнит, головка разболелась,
Пылают щечки, клонит в сон,
Но сердцу сладко, сладко, сладко, —
Все непонятно, все загадка,
Какой-то звон со всех сторон.
Не видя, видит взор иное,
Чудесное и неземное,
Не слыша, ясно ловит слух
Восторг гармонии небесной —
И невесомой бестелесной
Ее домой довел пастух.*

*На утро гробик сколотили
Над ним попели, покадили,
Мать порыдала... И отец
Прикрыл его тесовой крышкой
И на погост отнес подмышкой...
Ужели сказочке конец?*

Последнюю строфу он изменил в первых трех строках за несколько месяцев до своей кончины. Его рукой написано: «Ив. Бунин 1916-1953 г.»

Лет восьми на Ваню напало желание лгать и так продолжалось с год. Вот как он сам объясняет это явление:

«Я многое кровно унаследовал от отца, например, говорить и поступать с полной искренностью в том или ином случае, не считаясь с последствиями, нередко вызывая этим злобу, ненависть к себе. Это от отца. Он нередко говорил с презрением к кому-то, утверждал свое право высказывать свои мнения, положительные или отрицательные о чем угодно, идущие вразрез с общепринятым:

— Я не червонец, чтобы всем нравиться!

Он ненавидел всякую ложь и особенно корыстную, прибыльную: говорил брезгливо:

— Лгут только лакеи.

И я был в детстве и отрочестве правдив необыкновенно. Как вдруг случилось со мной что-то непостижимое: будучи лет восьми, я вдруг предался ни с того ни с сего страшной бесцельной лживости; ворвусь, например, из сада или со двора в дом, крича благим матом, что на гумне у нас горит рига, или что бешеный волк примчался с поля и вскочил в открытое окно людской кухни, — и уже душой всей веря и в пожар, и в волка. И длилось это с год, и кончилось столь же внезапно, как и началось. А возвратилось, — точнее говоря, начало возвращаться, — в форме той с ю ж е т н о й «лжи», которая и есть словесное творчество, художественная литература, ставшая моей второй натурой с той ранней поры, когда я начал писать как-то совершенно само собой, став на всю жизнь только писателем».

Лет восьми Ваня написал стихи — о каких-то духах в горной долине, в месячную ночь. Он говорил мне, что видит ее до сих пор.

В отрочестве он и натолкнулся на картинку, под которой была подпись: «Встреча в горах с кретином», об этом он часто вспоминал и среди близких, и на своей лекции, и в «Воспоминаниях». Слово кретин его поразило, он прочел его впервые и вот как он сам об этом пишет:

...«Но кретин? В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическое волнение. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки. Но не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства?»

Евгений должен был отбывать воинскую повинность. Льгот у него не было, и ему нужно было итти простым солдатом. У него шел роман с одной девушкой из Выселок, застенчивой и милой, которую любили в его семье. И решили, если его «забредут», и ему удастся устроиться писарем, то она поедет к нему и будет жить с ним на «вольной» квартире.

— А какой аппетит был у отца в пору моего раннего отрочества, — часто вспоминал Иван Алексеевич, — раз, он уже совсем одетый, чтобы отправиться на охоту, проходил мимо буфета, где стоял непечатый окорок. Он остановился, отрезал кусок, окорок оказался очень вкусным, и он так увлекся им, что съел его весь... Да и вообще, — продолжал Иван Алексеевич, — аппетиты у помещиков были легендарные: Рышков съел в Ельце за ужином девять порций цыплят!... А вот Петр Николаевич Бунин заваривал кофий всегда в самоваре...

В детстве он застал древний обычай. Он так записал его:

«Из моих детских воспоминаний: в снежные глухие сумерки под Рождество горят в деревне, на снегу, возле изб костры. Спросил бабу на пороге: зачем это?»

— А затем, барчук, чтоб покойники погрелись.

— Да ведь они на кладбище.

— Мало ли что! все ночью, каждый к своей избе, придут погреться. Им под Рождество это всегда дозволяется».

Еще запись Ивана Алексеевича из этих времен:

«Мой отец рассказывал, что у его брата Николая Николаевича, был жеребец какой-то «страшной Бунинской породы» — огромный, рыжий, с белой «проточиной» на лбу».

— А у меня, — говорил отец, — все менялись верховые жеребцы: был вороной с белой звездой на лбу, был стальной, был соловый, был кариковый, иначе сказать, темно-гнедой»...

2

В эту пору в семье Буниных поселился очень странный человек, сын состоятельного помещика, предводителя дворянства Ромашкова (соседа бабушки по имению). Он нигде и ни с кем не мог ужиться, а у Буниных прожил целых три года, оставался до самого поступления Вани в гимназию.

Николай Осипович Ромашков окончил курс в Лазаревском институте восточных языков в Москве, был образован, начитан, знал несколько языков, в том числе и греческий, но из-за своего трудного, самолюбивого характера, очень несдержанного, не мог ни служить, ни оставаться в имении отца, с которым он рассорился, а затем при дележе наследства рассорился и с братом, возмущился и, с презрением разорвав какой-то акт, навсегда покинул родной дом.

У Буниных он гостил и раньше, но иногда, когда они с Алексеем Николаевичем бывали во хмелю, дело доходило чуть ли ни до кинжалов, — оба были «вспыльчивы, как порох», и в таких случаях Николай Осипович быстро исчезал.

Людмила Александровна, которую он очень почитал, обрадовалась, что будет кому подготовить в гимназию Ваню. Она благоволила к нему и жалела его. Николай Осипович оказался оригинальным педагогом: стал учить грамоте по «Одиссее» и «Дон Кихоту», возбудил в своем ученике любовь к странствиям и рыцарству, к средневековью и вообще сыграл большую роль в развитии его ума, вкусов и мечтаний.

В Ване он души не чаял, любил его и Ваня. Вместе перечитали они все, что было в Бутырьках. Вместе искали на чердаке какую-то зарытую дедовскую саблю. Николай Осипович, забывая о возрасте своего питомца, рассказывал ему о своей жизни, о всех гадостях и подлостях, какие ему делали люди, и Ваня дрожал от негодования и гнева, слушая о том, что приходилось переживать его учителю. Рассказывал он талантливо, умел представлять всех в лицах, сообщил с большим волнением, что однажды ему посчастливилось видеть Гоголя. Вот как Иван Алексеевич передает его рассказ об этом:

« — Я его однажды видел. Это было в одном московском литературном доме. Когда мне его показали, я был поражен, точно увидел что-то сверхъестественное. Подумать только: Гоголь! Я смотрел на него с неопишуемой жадностью, но запомнил только то, что он стоял в толпе, тесно окружавшей его, что голова у него была как-то театрально закинута назад и что панталоны на нем были необычайно широки, а фрак очень узок. Он что-то говорил, и все его почтительно и внимательно только слушали. Я же слышал только одну фразу — очень закругленное изречение о законах фантастического в искусстве. Точно я этой фразы не помню. Но смысл ее был таков, что, мол, можно писать о яблоне с золотыми яблоками, но не о грушах на вербе.»

Николай Осипович много скитался, был где-то в лесах за Волгой — и возбудил в душе мальчика желание видеть свет. Помогали этому и «Всемирный Путешественник» и «Земля и люди», которые они читали и перечитывали, рассматривали картинки, начиная с египетских пирамид, всевозможных пальм и кончая морями с коралловыми островами, с пиратскими кораблями и дикарями в пирогах, — зарождалась мечта о тропиках и дальних путешествиях.

Николай Осипович недурно играл на скрипке, владел кистью. Он дал почувствовать своему воспитаннику «истинно-божественный смысл и значение земных и небесных красок», и акварельные краски чуть не свели с ума Ваню, — он уже решил стать художником.

Его учитель всегда носил старенький сюртучок, а на голове парик, отчего его и прозвали «Париком». Через несколько лет он попал в полую воду, которая унесла его «головной убор», что было

истинным горем для этого странного человека. Питался он только черным хлебом, намазанным горчицей, под водку. Никто не понимал, как он может жить на таком режиме.

С самого детства Ваня стал водиться со сверстниками, сначала с пастушатами, а затем и с ребятами из Выселок, которые находились в версте от Бутырок. Бывали они и у него в гостях, бывал и он в их избах. С некоторыми из ребят он очень дружил, а одного так полюбил, что требовал, чтобы он оставался у него ночевать, что порой возмущало их строгую, чинную няню. Со всеми он был на равной ноге и от более сильных ему иногда попадало «под микитки», но он никогда не жаловался дома.

Родители брали Ваню, а потом и сестер, в церковь в селе Рождество, куда ездили на тройке с кучером в цветной рубашке и плисовой поддёвке. Бог-Саваоф, написанный в куполе, вызывал в нём страх. Несмотря на утомление, он любил церковные службы, нравился ему и почет, которым они в храме пользовались. Священник присылал матери просфору, крестьяне давали им дорогу, когда они немного опаздывали к службе.

Стали брать детей, когда ездили к бабушке, матери Людмилы Александровны, в Озёрки, которые находились в нескольких верстах от их хутора. На Ваню произвел впечатление въезд в усадьбу с двумя каменными столбами, поразил дом с необычайно высокой крышей и пленили цветные стекла в окнах гостиной и угловой комнаты. А старую ель перед домом они с сестрой называли «заветной».

Когда Ване было лет семь-восемь на Рождество приехал из Москвы Юлий, уже окончивший математический факультет и учившийся на юридическом, чтобы специализироваться по статистике. Понаехало и много гостей. Алексей Николаевич, хотя и был во хмелю, но находился в благостном настроении, был гостеприимен, пел под гитару, сыпал остротами и ни с кем не поссорился. Людмила Александровна чувствовала себя счастливой: все птенцы были с ней.

В жизни случается, что после счастливых дней наступает горе и с самой неожиданной стороны, так было и на этот раз. В конце Святков заболела младшая девочка, очень веселая, синеглазая, на крепких ножках, любимица всего дома.

Гости быстро разъехались, и наступили тяжелые дни, полные тревоги, подавленности и беспомощности. Что была за болезнь? Неизвестно. Всё произошло в несколько недель. Приезжал из Предтечева фельдшер, который ничего не понял. И в начале февраля девочки не стало.

Исчезновение из жизни любимой сестрёнки Саши поразило мальчика так, что он на всю жизнь был потрясен, и никогда уже не проходило у него жуткое изумление перед смертью. И дума о Саше жила долгие годы: где теперь она, ее душа? На какой звезде? Тяжкое впечатление оставило и то, что нянька накинула черную материю на зеркало в комнате, где он спал...

Вот как он сам записал об этом:

«В тот февральский вечер, когда умерла Саша, и я (мне было тогда лет 7-8) бежал по снежному двору в людскую сказать об этом,

я на бегу все глядел в темное облачное небо, думая, что ее маленькая душа летит теперь туда. Во всем моем существе был какой-то оставившийся ужас, чувство внезапного совершившегося великого, непостижимого события».

Вскоре после смерти Саши кто-то из Ельца привез копеечные книжки «Жития святых», и мальчик набросился на это чтение, стал много молиться, держать посты, даже сплел из веревок нечто похожее на «власяницу» и носил ее под рубашкой. И все бегал к сапожнику, ездившему за товаром в город, давал ему медяки, прося покупать для него всё новые и новые книжки о святых.

Года за два до поступления в елецкую гимназию была привезена программа и учебники для вступительных экзаменов, и Николай Осипович засадил своего воспитанника за них, заставляя его без всяких объяснений зубрить, а сам ходил по комнате, что-то бормоча себе под нос.

Поздней осенью 1880 года Ваня тяжело заболел, повидимому, скарлатиной, — он помнил, как шелушилась кожа на его руках. Эта болезнь оставила глубокий след в его душе. О чем, мне кажется, он пишет и в «Жизни Арсеньева».

В начале марта 1881 года, когда Ваня играл с Машей, сидя на полу и что-то строил из книг, вошел из Новосёлок мужик, перекрестился на темный образ, поклонился господам и неторопливо, торжественно произнес:

— Государь наш Александр Николаевич приказали долго жить, его убили...

Это известие произвело огромное впечатление на взрослых. Отец на следующее утро кинулся в Елец.

Вернувшись оттуда и сообщив некоторые подробности, Алексей Николаевич поехал по соседям. Прежде всего в Предтечево, к своим приятелям, помещикам Муромцовым, почти единственно по-настоящему культурным людям в округе.

На Ваню эта смерть не произвела сильного впечатления.

В Бутырьках и не думали, что их Юленька был знаком с этими революционерами и что он совсем иначе переживал те жуткие дни в России. Осенью его выслали из Москвы в Харьков, где он и поступил в университет, продолжая заниматься подпольной работой.

В отрочестве у Вани было еще одно событие, поразившее, даже потрясшее его:

Однажды, выйдя во двор, он увидел грача с подбитым крылом, который ковылял по земле. Неожиданно для самого себя, он кинулся в кабинет, схватил со стены кинжал, который восхищал его с детства и, поймав несчастную птицу, стал колоть ее, она, — как рассказывал он, — сильно защищалась, исцарапала ему руку, но он все же с каким-то упоением прикончил ее, вонзив кинжал в самое сердце... И долго его мучило это убийство, и он втайне ото всех молился, чтобы Бог простил ему это преступление.

В мае 1881 г. в Озёрках скончалась его бабушка. Она была чудовищной толщины и последнее время уже почти не двигалась, ей было за восемьдесят лет. Детей на похороны не взяли. Людмила Александр-

ровна сильно горевала по матери, но всё же было и утешение: Озёрки по наследству переходили к ней.

Летом Ване пришлось заниматься, повторять пройденное, так как экзамены были назначены в начале августа. Помогал и Юлий, живший на каникулах дома.

Мальчик был хорошо подготовлен, память у него была редкая. Благодаря матери, читавшей ему стихи с самого младенчества, и Николаю Осиповичу, много сделавшему в развитии его литературного вкуса, он уже без волнения не мог слушать или читать Пролог из «Руслана и Людмилы». Волновали и «Старосветские помещики», а «Страшная месть» его потрясла, и он целые куски из этого несравненного произведения знал на память и всю жизнь любил читать их.

Он говорил о том высоком чувстве, какое «Страшная месть» пробудила в его душе чувство, которое, по его мнению, «вложено в каждую душу и будет жить вовеки — чувство священной необходимости конечного торжества добра над злом и предельной беспощадности, с которой в свой срок зло карается. Это чувство есть несомненно жажда Бога, есть вера в Него...» («Жизнь Арсеньева»).

3

Наконец наступил день отъезда в Елец. Повез его Алексей Николаевич. Прощанье было тяжелое: мать едва сдерживала рыдания, плакали Маша и нянька, слезы навертывались и у Николая Осиповича, только Юлий с отцом посмеивались, переглядываясь, и отец, быстро положил конец прощанью.

—Присядем!

Сели. Поднялись. Помолились перед образом. Алексей Николаевич быстрым шагом вышел на крыльцо, вырвал сына из рук обнимавших его, и лошади тронулись.

Хотя Ваня и был взволнован, но бодрость отца, прелесть августовских полей и большая дорога успокоили его. Кроме того, в душе он надеялся: «авось не выдержу», хотя Юлий уверял, что ничего нет страшного.

Экзамены оказались легкими: рассказал о амаликитянах, написал под диктовку: «снег бел, но не вкусен», помножил два двузначных числа, начал читать стихи, но, к его огорчению, учитель не дал ему кончить их. Вот и всё.

—Да, Юлий прав, — думал новоиспеченный гимназист, — он всё знает.

К старшему брату он уже относился, как к необыкновенному человеку; кроме того, ему нравилось его лицо, юношеская худоба, лучистость синих глаз; вызывало уважение, что он уже на втором факультете, а по окончании гимназического курса был награжден золотой медалью! Ему, как, впрочем, почти всем их родным и знакомым, казалось всё это чем-то необыкновенным, так как большинство из его сверстников в их округе не кончило и курса гимназии.

После экзаменов отец заказал Ване форму и купил гимназическую фуражку, которую он тотчас же надел на голову, несмотря на жаркую погоду. Форму портной обещал сшить к началу занятий. И они поехали домой недели на две.

А дома отец всё повторял: «Зачем ему эти амаликитяне»? — и стал брать его с собой на охоту, когда ездил на дрожжах, а рядом бежал легаш. Ходили и пешком. Отразилось это и в «Далеком» и в последних главах первой книги «Жизни Арсеньева». Эти последние свободные недели в Бутырках были особенно сладки. Юлий тоже стал брать его с собой на вечерние прогулки, и он почувствовал себя старше.

На душе было двойственно: пугала теперь уже и долгая разлука с родными, Николаем Осиповичем, житье «нахлебником» в мещанской семье, и в то же время интересовала новая жизнь, товарищи, родилась мечта о закадычном друге. Правда, Елец разочаровал его, не произвел того впечатления, как четыре года тому назад: показался и меньше, и грязнее, но все же это город...

Утешал себя, что вернется на Святки, приедет и на Святую, а затем и на долгое лето и опять будет в хлебах слушать свою любимую овсяночку, о которой он вспоминал всю свою жизнь в эмиграции, до самой смерти, сильно тоскуя по ней; будет с отцом ловить перепелов, слушать жаворонков, соловьев, иволгу, любоваться быстротой её полета, с восхищением смотреть на цветы, драться с мальчишками, лазить с ними по деревьям, разорять гнезда...

Сжималось сердце, когда он думал о Николае Осиповиче: он понимал, что ему будет одиноко и скучно без него; жалко было и Машу, она останется совсем одна среди взрослых.

И опять прощанье, слезы, благословения. И приятная езда в покойном тарантасе, сначала по уже накатанным проселочным дорогам, затем по мягкому большаку с заросшими муравой колеями, со старыми дуплистыми вёслами. На одной сидел черный ворон, и Ваня вспомнил, как мать ему говорила, что вороны живут по несколько сот лет, а отец тут сказал, что, может быть, этот ворон видел татарское нашествие: по этим местам шел Мамай.

Потом проезжали мимо станции Становой, где некогда свили гнездо разбойники с атаманом Митькой Становлянским, которого четвертовали и которым в детстве его пугала нянька.

От Становой до Ельца — шоссе, пятнадцать верст.

Елец вкусно пахнул яблоками. Базар был завален арбузами, дынями, всякими фруктами и овощами. Город тогда жил широкой торговой жизнью, особенно сыпкой зерна.

Но Ваню в этот раз больше всего интересовала гимназическая форма. С какой радостью он в нее облекся; сшита она была «в самый аккурат», как говорил их кучер.

Отец поместил его в нахлебники к мещанину Бякину за 15 рублей в месяц на всем готовом. Там они уже застали приехавшего накануне незаконного сына двоюродного племянника Людмилы Александровны, Валентина Николаевича Рышкова, Егорчика Захарова, и Ваня обрадовался, что все-таки он будет не совсем один. Когда он бывал у бабушки в Озёрках, где у Рышковых тоже было имение, напротив через пруд, то он часто с ним играл.

Дом Бякиных находился на Торговой улице. Хозяин был богобоязненный человек, семья состояла из жены, сына, гимназиста четвертого класса, и двух девочек, очень тихих. В доме был заведен строгий порядок, отец всю семью держал в ежовых рукавицах, был человек наставительный, неразговорчивый, требовательный. И Ване было очень странно попасть к таким людям после их свободного беспорядочного дома. Первый день был особенно темный от низких туч,

и когда отец уехал, то мальчикам было грустно сидеть в чужой комнате в полутьме, но лампы зажечь раньше положенного времени не полагалось. Запомнился на всю жизнь и первый ужин, состоявший из похлебки, рубцов с соевым арбузом и крупяной кашей. Ваня не мог из-за запаха есть рубцов и ел только соевый арбуз, который ему нравился.

Бякин заметил и строго сказал:

— Надо, барчук, ко всему привыкать, мы люди простые, русские, едим пряники неписанные, у нас разносолов нету...

И эти слова Ваня запомнил на всю жизнь, почувствовав, что Бякин очень гордится своей рускостью. И чем дольше жил у них, тем больше понимал, как Бякин любит Россию и гордится ею. Любил он и стихи, иногда заставлял мальчиков декламировать разных поэтов, гордился, что Никитин и Кольцов были мещанами: «Наш брат, мещанин, земляк наш!»... не раз повторял он. Уважал просвещение, сына отдал в гимназию.

Как часто отрицательные события в жизни оказываются полезными, особенно, если они встречаются в жизни будущих писателей.

Не живи Ваня в чуждой ему среде в первые годы гимназии, не узнал, не почувствовал бы до конца мещанского быта, не понял бы и мещан по-настоящему. Он всегда говорил, что мещане очень талантливы, предприимчивы, деловиты и что на них главным образом держалось благосостояние России. Были у них и свои нерушимые законы. В этом сословии жила не только любовь к России, но и гордость ею.

Конечно, не все были в Ельце Бякины, не все были честны и принципиальны, но всё же удачно, что именно к Бякину попал Ваня.

В гимназию мальчики пошли не в том тяжелом настроении, в каком они провели накануне вечер. Было солнечно, а главное, они вышли на улицу во всем новом: серые брюки, синий мундирчик, длинная, на рост, серая шинель и синяя фуражка с белым кантом и серебряными листочками на околыше.

В первый день в гимназии всегда интересно: молебен в сборной зале, а затем в классах выбор парты и диктовка классным наставником, какие учебники нужно приобрести.

Со следующего дня началось учение. Ване оно давалось легко, особенно то, что нравилось, и первый год прошел без сучка, без задоринки да и развитее он был многих своих одноклассников, память была, как у писала, превосходная, слабее всего он был по арифметике.

Приблизительно раз в месяц приезжали к нему родители. Тогда наступали для него праздничные дни, его брали в гостиницу, водили в цирк, и он, попав в родную обстановку, расцветал, чувствовал себя счастливым. Но зато каждый отъезд был настоящим горем, и он не раз плакал и за всеобщей, и ночью после разлуки с ними. В те времена в провинции гимназистов водили под праздник ко всеобщей, а в праздничные дни и к обедам, и для Вани это было мучительно: он был здоровым мальчиком, но непривыкшим к дисциплине; ему было трудно выстаивать долгие службы, и иногда у него кружилась голова, раза два он терял сознание. Может быть, он недостаточно ел, не всё у Бякиных нравилось ему, он с самого младенчества был избалован, всегда делал только то, что хотел, поэтому ему было нелегко жить у чужих. Бякин оставлял его в покое, так как знал, что роди-

тели не позволили бы воспитывать их сына, Егорчика же он держал строго: не разрешал гулять, когда нужно было готовить уроки, иногда даже драл за уши в наказание за плохие отметки или какую-нибудь провинность.

В мае оба гимназиста перешли во второй класс. И первые каникулы Ваня провел в Бутырках, которые находились от Ельца в тридцати верстах.

Это лето было одним из самых счастливых для всей семьи, которая вся была в сборе. Решили на семейном совете продать Бутырки мужикам, а на деньги, оставшиеся после уплаты долгов, поправить дом в Озёрках и на следующую весну туда перебраться. Земли там было десятин двести, больше чем в Бутырках, и все надеялись на приятную жизнь, так как в Озёрках кроме этой усадьбы было еще две: Рышковых и Цвеленевых, поэтому не будет так одиноко, как на хуторе. Рядом с усадьбой — пруд, есть где купаться, полоскать белье; сад тоже больше, больше и фруктовых деревьев; словом, мечтать можно было вдоволь.

А для Вани и в Бутырках было раздолье; его стали отпускать в ночное, он уже хорошо ездил верхом, был от природы ловок и смел. Начинаясь дружба с Юлием, который после дневного чтения и других занятий по вечерам гулял и брал всегда с собой Ваню, рассказывал о звездах, о планетах, зная, что с младенчества его маленький брат любил небесные светила.

С отцом он ходил ловить перепелов на вечерней заре, — это одно из самых очаровательных и поэтических времяпрепровождений. Кругом тишина, нарушаемая только боем перепела, и непередаваемая прелесть полей с их тонкими запахами.

С Машей Ваня тоже всё больше и больше дружил, ей уже было семь лет, она была очень горячей, веселой девочкой, но тоже вспыльчивой, больше всех походила характером на отца, но была не в пример ему нервна, заносчива, и как и он очень отходчива; и если они с братом ссорились, то ненадолго. Немного ревновала его к матери: «любимчик!» — иронически называла его во время ссор.

Дружба Вани с мальчишками из Выселок все возрастала, и ему было грустно, что это — последнее лето, которое он проводит с ними. Особенно сдружился он с ребятами в ночном, много сказок пересказал им, как некогда Маше, встречая с ней зорю.

4

На второй год Ваню опять поместили к Бякину.

Вот его запись:

«Вскоре вечер какого-то царского праздника (конечно, 30 августа, тезоименитство Александра III). Иллюминация, плошки, их чад и керосиновая вонь. Бякин, гимназист (15 л.) показал нам в гуляющей толпе хорошенькую мещаночку, свою любовь, потом дома дал карточку какой-то молодой девицы. Совсем голой. Не сразу заснул после этого. Ночь, лампадка, что-то вроде влюбленности в мещаночку Бякина и какого-то возбуждения при мысли о карточке. Эта нагота, красота голого женского тела, — что-то совсем особое, — чувствовал уже эту особенность, нечто эстетическое и половое».

в одной руке свою голову, а в другой икону Путеводительницы. Это был заветный образ дедушки Николая Дмитриевича, не сгоревший при нескольких пожарах. На тыльной стороне иконы была написана вся родословная Буниных.

Кроме того появилось новое удовольствие. Весною этого года умер свекор племянницы Алексея Николаевича, Иван Васильевич Пушешников, умер внезапно, ему сделалось дурно за обедней, едва довели до дому, как он скончался. Это был маленький полный старичок с короткой шеей, с длинными обезьяньими руками, очень серьезный, служил по выборам в уездном земстве, никогда не был женат, но детей имел, и одного, от красавицы с цыганской кровью, усыновил. Человек он был образованный (в его библиотеке были и русские, и иностранные писатели). Скоро с Алексеем Николаевичем они рассорились, и Бунины перестали бывать у Пушешниковых.

Сын покойного, Алексей Иванович Пушешников, совершенно не походил на отца: высокий, красивый, никогда ничего не читавший, страстный охотник, весёлый общительный человек с прекрасным голосом, он очень любил Алексея Николаевича, родного дядю своей жены и, конечно, вскоре после смерти отца поехал в Озёрки, и отношения возобновились.

Если Озёрки были живописнее Бутырок, то село Глотово было живописнее Озёрок, — шире и с большим населением. Там было четыре усадьбы: Готовых, Казаковых, Бахтеяровых, которые впоследствии продали свое поместье Глотовым, Бахтеяровых, с водочным заводом, и Пушешниковых; последнее называлось Васильевское. С двух сторон этих усадеб шли раскинувшиеся улицы с избами бывших крепостных этих помещиков; было две лавки, школа и церковь, возвышавшаяся на выгоне, рядом с Васильевским. На глотовской стороне жило духовенство. Поместье Бахтеяровых от других усадеб отделяла узкая речонка Семенёк.

Дом в Васильевском был одноэтажный, без балкона, комнаты большие, высокие, с широкими половицами, в окнах поднимающиеся рамы.

За лето Ваня вытянулся, загорел, из мальчика превратился в подростка.

5

В сентябре 1884 года в сильном волнении «прискакали» в Елец родители Вани и, заехав за ним, отправились на вокзал, где уже, в ожидании поезда, сидел Юлий с двумя жандармами. Они в полном смятении рассказали, что накануне в Озёрки вернулся Юлий и быстро был арестован, по доносу их соседа Логофета, как им сообщили.

Юлий Алексеевич был арестован потому, что его адрес нашли в подпольной типографии. Он послал приятелю сапоги, а тот забыл разорвать обертку с адресом отправителя.

Юлий Алексеевич принимал участие в народофильском движении, был на Липецком съезде; его деятельность заключалась в том, что он писал революционные брошюры под псевдонимом Алексеев. Он не был активным деятелем. Очень конспиративный, с мягкими чертами характера, он и на следователя, вероятно, произвел впе-

В Озёрках, по наследству от бабушки, остался живший у неё на покое старый повар, который раньше был ловчим; Ваня очень любил расспрашивать его о былом, о охотниках, мужиках, и два рассказа его записал:

— И вот еще был на дворе у вашего папаши дворовый по прозвищу Ткач, — вы тогда, барчук, и на свет еще не рождались. И до чего же был этот Ткач веселый, бесстыжий и умный вор! Не воровать он прямо не мог, и нужды нет никакой, а не может не украсть. Раз свел у мужика на селе корову и схоронил ее в лесу — будь коровьи следы, по следам нашли бы, а следов никаких; он ее в лапти обул! А у другого овцу унес: пришли с обыском, искали, искали — ничего не нашли. А он сидит в избе, качает люльку — и никакого внимания на них: ищите, мол, ваше дело! а овца в люльке: положил ее туда, связанную, завесил пологом, сидит и качает, приговаривает:

— Спи, не кричи, а то зарежу!

Эти рассказы забавляли мальчика, а то, что повар повествовал о охоте, воспроизведено в рассказе «Ловчий».

Как-то раз отец вернулся из Ельца, он был очень пьян,¹ ехал в тележке. Когда распрягали лошадь, Ваня заметил, что во все тележные щели засунуты золотые монеты...

Рассказывали, что, когда умерла сестра Людмилы Александровны, то ее имение, по закону, должно было перейти к последней. Муж покойной, помещик Резвый, пришел и стал плакаться: «Остается одно: выйти с сумой на большую дорогу...».

— Да, Бог с тобой, — перебил его Алексей Николаевич, — живи, как жил!

И имение осталось за ним, но это ему не помогло: он женился вторично, а через несколько лет жена его выгнала, и он пропал без вести.

Вернувшись в Елец, Ваня принялся серьезно работать, учил уроки, читал, стал меньше заниматься скульптурой, хотя ему доставляло удовольствие сознание, что его черепа и кости лежали на некоторых могилах...

К весне он успокоился и, выдержав экзамены, перешел в четвертый класс. И к концу мая был уже у себя в Озёрках.

Этим летом он уже реже играл в индейцев, страдая за мать и беспокоясь о Юлии.

Иногда ездил в Васильевское, где у его двоюродной сестры С. Н. Пушешниковой было четверо маленьких мальчиков, — старший, Ваня, был какой-то странный, болел астмой, был необыкновенно религиозный, но в то же время проявлял деспотические наклонности. Мать из-за этой болезненности очень баловала и даже побаивалась его.

Как всегда, Ваня Бунин проводил много времени в библиотеке старика Пушешникова, зачитывался поэтами и русскими, и в переводах, стал и сам кропать стихи, но пока втайне, никому не показывая.

В это лето Евгений Алексеевич задумал жениться. Он искал себе жену не среди помещичьих дочек, а девушку серьезную, работающую, так как уже понимал, что хозяйство отца идет под гору. Остановился на падчерице винокура Бахтеяровых, Настасье Карловне

Гольдман. Винокур, Отто Карлович Туббе, был очень милый немец, с редким благорасположением ко всем.

Катерина, любовница Евгения Алексеевича, переживала драму. Она всем сердцем была привязана к отцу своей дочери. Приходила из Новоселок в Озёрки, голосила под бунинским домом.

В июне Евгений Алексеевич сделал предложение, Настасья Карловна приняла его. Он нравился ей, льстило, что выходит замуж за дворянина, сына помещика.

Когда Евгений Алексеевич ездил к невесте, всегда брал с собой младшего брата, который не замедлил влюбиться в сестру невесты, Дуню, и по вечерам они ходили в соседнее имение Бахтеяровых, Колонтаевку («Шаховское» в «Митиной любви»), оба вели своих дам под руку. Имение было заброшено, от чего там было особенно поэтично.

— Как-то, — рассказывал мне Иван Алексеевич, — мы возвращались ночью из Озёрок; Евгений поехал провожать Настю и взял меня, и я ехал с Дуней на дрожках. Как сейчас вижу: рассвет, гуси через дорогу, это уже было в Васильевском и, не помня себя, осмелился — поцеловал едва, едва Дуню. Неизъяснимое чувство, уже никогда больше неповторимое: ужас блаженства.

Свадьба была назначена на Ильин день в Знаменском, приходе Озёрок. Пир у Буниных до зари. Гостей было много — и родные, и друзья, и соседи. Приехала из Ельца родная племянница Людмилы Александровны, дочь ее сестры, Вера Аркадьевна, рожденная Петина. Она только что разошлась с мужем и поселилась в Ельце. Прогостила она у Буниных несколько недель, и тут они сговорились, что Ваня в учебное время будет жить у неё.

Свадьба была очень веселая: пели, плясали, было выпито много шампанского. Ваня веселился больше всех. Он в новом гимназическом мундире надевал туфельку невесте, положил туда золотой, ехал с ней в карете с образом к венцу, а потому чувствовал себя одним из действующих лиц.

Молодые поселились у Буниных, в Озёрках, и Настя уже ходила по утрам хозяйкой в кружевном капоте, пока не стала заниматься делом.

К концу месяца, на вечерней заре, когда вся семья сидела на балконе за самоваром, послышался стук колес, и из брички вылез еще более похудевшим, чем был перед тюрьмой, Юлий Алексеевич. Радости не было конца. Он отделался легко: на три года под надзор полиции в Озёрки. Все ликовали. Мать немного успокоилась, — все дети около неё.

В середине августа, рано утром, Евгений, разбудив Ваню, повез его вместе с Егорчиком в Елец. Дуня гостила у Буниных, и бедный Ваня чуть ни плача, полусонный простился с ней.

При въезде в город его на этот раз поразили ворота монастыря, на створах которых во весь рост были написаны два высоких святителя в епитрахиях. Утро было серое, на душе у него — грусть.

Жизнь в Ельце у Веры Аркадьевны очень не походила на жизнь у Бякиных или у ваятеля. И Ваня в первый раз увидел провинциальную богему. Его кузина была женщиной общительной, любила

гостей, и у нее постоянно толклись офицеры, чиновники, актеры; самовар не сходил со стола, а по вечерам, если она не ездила в театр, то принимала у себя. При ней жила бывшая крепостная Александра Петровна, очень ей преданная, с деспотическими чертами характера женщина.

Ваню поразили актеры с бритыми губами и подбородками, свободой в обращении, беспрестным хвастовством своими успехами. Благодаря им, он начал бывать по контромаркам в театре и перевидал все новинки сезона.

10 октября ему минуло 15 лет, и он уже стал чувствовать себя юношей, больше читал, чем занимался в гимназии, особенно трудно ему давалась алгебра, но он не задумывался, так как жизнь у Веры Аркадьевны была ключом. Она была доброй, как большинство легкомысленных женщин. Ваню она очень полюбила и баловала.

Когда, соскучившись по нем, приезжали родители, то они теперь брали с собой в город и Машу. Конечно, они тоже останавливались у племянницы, ходили в театр, цирк.

Матери не нравилось, что Ваня все время находится на людях, мало занимается, но она утешала себя тем, что это только, когда они гостят у Веры Аркадьевны.

В декабре Ваня жил, ожидая наступления праздничных каникул. Ему позволили вернуться домой одному через Измалково. Отто Карлович, по словам отца, вышлет за ним лошадь, и он, переночевав у них, поедет на следующий день домой.

Маша рассказала ему, что у младших дочерей Отто Карловича, Зины и Саши, гувернантка, молоденькая и милая девушка. И он стал мечтать о ней.

22 декабря гимназистов распустили на Святки. Ваня считал часы до отъезда на вокзал. Он был горд, что едет один по железной дороге. Надеялся, что в этот же вечер он увидит гувернантку. На вокзал приехал за три часа до прихода поезда.

6

«Переписано с истлевших и неполных клочков моих заметок того времени.

Конец декабря 1885 года.

...серых тучек, ветер северный, сухой забирается под пальто и взметает по временам снег... Но я мало обращал на это внимание: я спешил скорей на квартиру и уже представлял себе веселие на празднике, а нонешним вечером — покачивание вагонов, потом поле, село, огонек в знакомом домике... и много еще хорошего.

Просидевши на вокзале в томительном ожидании поезда часа три, я наконец имел удовольствие войти в вагон и поудобнее усесться... С начала я сидел и не мог заснуть, так как кондукторы ходили и, по обыкновению, страшно хлопали дверьми; в голове носились образы и мечты, но не отдельные, а смешанные в одно... Что меня ждет? задавал я себе вопрос. Еще осенью я словно ждал чего-то, кровь бродила во мне, сердце ныло так сладко и даже по временам я плакал сам не зная от чего; но и сквозь слезы и грусть наваянную красотой природы или стихами, во мне закипало радостное светлое чувство молодости, как молодая травка весенней порой. Непре-

мою шею своими ручками и я запечатлел на ее губках первый, горячий поцалуй!.....

Да! Пиша эти строки я дрожу от упоенья! от горячей первой любви!... Может быть некоторым, случайно заглянувшим в мое сердце, смешным покажется такое излияние нежных чувств! «Еще молокосос, а ведь влюбляется скажут они! Так! Человеку занятому всеми дрязгами этой жизни и не признающему всего святого, что есть на земле, правда, свойства первобытного состояния души, т.е. когда душа менее загрязнилась и эти свойства более подходят к тому состоянию когда она была чиста и, так сказать, даже божественна, правда слишком (следующее слово нельзя разобрать И. Б.). Но может быть именно более всего святое свойство души Любовь тесно связана с поэзией, а поэзия есть Бог в святых мечтах земли, как сказал Жуковский (Бунин, сын А. И. Бунина и пленной турчанки). Мне скажут что я подражаю всем поэтам, которые восхваляют святые чувства и, презирая грязь жизни, часто говорят что у них душа большая; я слышал, как говорят некоторые: поэты все плачут! Да! и на самом деле так должно быть: поэт плачет о первобытном чистом состоянии души и смеяться над этим даже грешно! Что же касается до того, что я «молокосос», то из этого только следует то, что эти чувства более доступны «молокососу» так как моя душа еще молода и следовательно более чиста. Да и к тому же я пишу совсем не для суда других, совсем не хочу открывать эти чувства другим, а для того чтобы удерживать в душе напевы:

*Пронесутся года. Заблестит
Седина на моих волосах,
Но об этих блаженных часах
Память сердце мое сохранит.....*
.....

(Строчка точек в подлиннике).

Остальное время вечера я был как в тумане. Сладкое, пыльное чувство было в душе моей. Ее милые глазки смотрели на меня теперь нежно, открыто. В этих очах можно было читать любовь. Я гулял с ней по корридору и прижимал ее ручки к своим губам и сливался с нею в горячих поцалуях. Наконец, пришло время расставаться. Я увидел, как она с намерением пошла в кабинет Пети. Я вошел туда же и она упала ко мне на грудь. «Милый, шептала она, милый, прощай! Ты ведь приедешь на Новый год?» Крепко поцаловал я ее и мы расстались.....

(Точки строчек в подлиннике И. Б.)

Домой я приехал полный радужных мечтаний. Но при этом в сердце всасывалось другое гадкое чувство, а именно ревность. «Она завтра поедет домой с Федоровым — да еще вдвоем только... Впрочем ведь она меня любит, а все-таки я бы не хотел, что бы она с кем-нибудь даже разговаривала... Да, глупость, глупость это», разувверял я себя...

Наконец я лег спать, но долго не мог заснуть. В голове носились образы, звуки... пробовал стихи писать, — звуки путались и ничего не выходило... передать всё я не мог, сил не хватало, да и вообще всегда когда сердце переполнено, стихи не клеятся. Кажется, что написал

Почему все же допустили старшие, чтобы он бросил гимназию?

Отец думал: «Зачем ему амаликитяне?» Но во хмелю кричал на него: «Недоросль!» — а позже: «Неслужащий дворянин!»

Мать от счастья, что сын будет жить при ней, не упрекала его, надеясь, что Юлий подготовит Ваню к аттестату зрелости, ибо она понимала, что ему необходим диплом, заработок.

Но почему Юлий не воспротивился тому, что брат бросил гимназию, пожелав после праздников остаться дома. Он ведь лучше матери знал, что такое жизнь, и как нужно высшее образование?

Я думаю, что с одной стороны ему не нравилось, что Ваня в Ельце живет у Веры Аркадьевны, у которой дом полон провинциальными праздными гостями: пока Ваня был подростком, это было не опасно, но вот у него начинается юность, пробудилось чувство влюбленности и для его возраста — общество не подходящее. Он тоже надеялся, с другой стороны, что подготовит брата к аттестату зрелости или, по крайней мере, к седьмому классу гимназии за время своей ссылки. Он еще летом почувствовал, что Ваня — одаренный мальчик, но совершенно недисциплинированный, с неразвитым чувством долга, усваивает охотно и крепко только то, что ему нравится; словом, Юлий попробовал отговаривать брата, но настаивать не стал: несмотря на серьезность, в нем жило эгоистическое легкомыслие, присущее Буниным, — он чувствовал, что без Вани ему будет уж очень тоскливо...

И началась новая жизнь для бывшего гимназиста.

С середины января они засели за учебники четвертого класса. Всё шло гладко, кроме математики — алгебру он совершенно не мог постигнуть: a плюс b равняется c , он так и не уяснил себе, — все абстрактное его ум не воспринимал. И как ни бился Юлий, ничего не выходило, пришлось махнуть рукой на математические науки. Познакомил его только с главными законами физики и астрономии и обратил все внимание на историю, языки и особенно на литературу. И тут Ваня удивил брата необыкновенными успехами в этой области.

Юлий Алексеевич рассказывал мне: «Когда я приехал из тюрьмы, я застал Ваню еще совсем неразвитым мальчиком, но я сразу увидел его одаренность, похожую на одаренность отца. Не прошло и года, как он так умственно вырос, что я уже мог с ним почти как с равным вести беседы на многие темы. Знаний у него еще было мало, и мы продолжали пополнять их, занимаясь гуманитарными науками, но уже суждения его были оригинальны, подчас интересны и всегда самостоятельны.

Мы выписали журнал «Неделя» и «Книжки Недели», редактором которых был Гайдебуров, и Ваня самостоятельно оценивал ту или другую статью, то или иное произведение литературы. Я старался не подавлять его авторитетом, заставляя его развивать мысль для доказательства правоты своих суждений и вкуса».

Обычно они гуляли два раза в день: перед дневным чаем и после ужина. Во время этих прогулок и велись серьезные разговоры, обсуждались произведения литературы. Юлий Алексеевич умел разнообразить темы, иногда прибегал к сократовскому методу беседы.

встречается имя знаменитого «знаменщика» Серебряной Палаты Леонтия Бунина. «Так там и написано, — продолжал Юлий Алексеевич: — «плодовитый гравер сей Леонтий Бунин, кроме множества отдельных листов, награвировал целые книги: букварь Кариона Истомина 1692 («Сий Букварь очини Иеромонах Карион,») а знамени и резал Леонтий Бунин х ЗСВ — и Синодик 1700 г.» «Л.Б.». То, что в скобках и последнюю фразу Юлий Алексеевич, по словам младшего брата, записал в книжечку, а начало рассказывал наизусть.

Иногда отец брал гитару и пел старинные русские песни; пел он музыкально, подняв брови, чаще с печальным видом и производил большое впечатление.

В своих стихах «На хуторе», написанных в 1897 году, Бунин дает картину этого вечера:

*Свечи нагорели, долог зимний вечер...
Сел ты на лежанку, поднял тихий взгляд —
И звучит гитара удалью печальной
Песни беззаботной, старой песне в лад.*

*«Где ты закатилось, счастье золотое?
Кто тебя развеял по чистым полям?
Не возйти над степью солнышку с заката,
Нет пути-дороги к невозвратным дням!»*

*Свечи нагорели, долог зимний вечер...
Брови ты приподнял, грустен тихий взгляд...
Не судья тебе я за грехи былого
Не веротись жизни прожитой назад!*

Больше всего Ваня любил песню на два голоса, которую его отец пел один или с кем-нибудь. К сожалению, середину ее он забыл, и никто ему не мог ее восстановить; вот как он сам о ней записал:

«Мой отец пел под гитару старинную, милую в своей романтической наивности песню, то протяжно, укоризненно, то с печальной удалью, меняя лицо соответственно тем двум, что участвовали в песне, один спрашивал, другой отвечал:

*— Что ты замолк и сидишь одиноко,
Дума лежит на угрюмом челе?
Иль ты не видишь бокал на столе?
Иль ты не видишь бокал на столе?*

*— Долго на свете не знал я приюту,
Долго носила земля сироту!
Раз, в незабвенную жизни минуту,
Раз я увидел созданье одно,
В коем все сердце мое вмещено!
В коем все сердце мое вмещено!*

Средины песни не помню, — помню только ту печальную, но бодрую, даже дикую удаль, с которой вопрошавший друг обращался к своему печальному другу:

*— Стукнем бокал о бокал и запьем
Грустную думу веселым вином!*

Эту песню приводит Иван Алексеевич в своем рассказе «Байбаки», потом озаглавленном «В поле», написанном в 1895 году, но и там нет середины. Вероятно, он не запомнил середины песни и писал этот рассказ вдали от отца, в Полтаве, не мог спросить, а потом забыл, так и пропала середина песни, которую так хорошо исполнял его отец. Он даже перед смертью жалел, что забыл ее.

Отец любил повествовать и о более близких предках, о своем деде, который был человек богатый, имел поместья в Воронежской и Тамбовской губерниях и только под старость поселился в своей родовой вотчине Орловской губернии, Елецком уезде, в Каменке. «Он не любил лесов, — а ведь не так давно все эти места были покрыты лесами, а теперь остался только Трошинский лес», — смеялся отец.

— При моем отце, Николае Дмитриевиче, — рассказывал Алексей Николаевич, — был здесь уже полустепной простор, засеянные поля. Но сад еще был замечательный: аллея в семьдесят развесистых берез, а фруктовый сад какой! а вишеник, малинник, сколько крыжовнику, а дальше целая роща тополей, а вот дом оставался под соломенной крышей и горел несколько раз, потом опять отстраивался, икона безглавого Меркурия тоже несколько пожаров выдержала, даже один раз раскололась!

Рассказывал, что мать его (рожденная Уварова) была красавицей: «Она рано умерла, и отец так тосковал, что даже тронулся, впрочем, говорят, что во время Севастопольской кампании, когда мы были на войне, он как-то лег спать после обеда под яблоней, поднялся вихрь, и крупные яблоки посыпались на его голову... После чего он и стал не вполне нормальным».

Мать тоже иногда вмешивалась в разговор и сообщала детям, что ее предки были помещиками Костромской, Московской, Орловской и Тамбовской губерний и что в их семье жила легенда: некогда Чубаровы были князьями. Петр Великий [казнил одного князя Чубарова, стрельца, сторонника царевны Софьи, и лишил весь род княжеского титула.

Иногда разговоры касались более близких родных, еще живых, например, тети Вари. Дети уже знали, что она «помешалась», когда отказала сделавшему ей предложение офицеру, товарищу по полку дяди Николая. Тут они узнали, что ее лечили и доктора, и знахари, возили ее и к мощам Митрофания в Воронеж, и к мощам Тихона Задонского. Долго ничего не помогало, ей казалось, как и ее тетке, Ольге Дмитриевне, что в неё по ночам вселяется «Змий эдемский и иерусалимский». Теперь она успокоилась, только стала очень неряшлива, живет в страшной грязи, у нее несколько десятин земли, корова и куры, она держит работника, который обращается с ней очень грубо: раз чуть ни убил ее, замахнулся топором; она воскликнула:

— Ну, что же, убьешь меня, я в Царство Небесное попаду, а ты на каторгу, а потом в аду гореть будешь...

Все это очень веселило ее племянников и племянницу, и подобные вечера проходили очень оживленно, к юмору они все были чутки.

На масленице приезжали Туббе с гувернанткой и внесли оживление и веселье. Молодежь решила ехать ряжеными по соседям:

Колонтаевка, действительно, была прелестна, но я воздержусь от описания её, ибо она дана в «Митиной любви» под именем «Шаховское».

Вскоре пошла полая вода, и в том году она была бурна и обильна, и никто из Васильевского не приезжал к ним, и они никуда не ездили. К Пасхе подсохло, на первый день Святой вся семья решила отправиться к Пушешниковым и Туббе. Все были уже на крыльце, чтобы сесть в экипажи, как в воротах увидали сходящего с дрожек Петю.

— Вы к нам? — спросил он.

— Да...

— Как нельзя во время, — медленно в нос, немного нараспев по своей манере, продолжал он, — Алексей Иванович приказал долго жить, — сегодня утром вошел в спальню сестры, поздоровался, упал, и дух вон...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В Васильевском нашли покойника уже на столе, заплаканную жену и испуганных маленьких детей.

Смерть Алексея Ивановича Пушешникова образовала грань в жизни юноши Бунина, тем более, что совпала с первой любовью и смертью, точно наметила две главные темы будущего писателя: любовь и смерть.

Всякую смерть в детстве и в раннем отрочестве, когда все события, если и не стираются, то уходят куда-то под спуд, он переживал с необыкновенной остротой и болью и долго после не мог прийти в себя. В начале юности он переживал это уже несколько иначе.

Алексей Иванович ему нравился и своей удалью, и красотой цыганского типа, и очень приятным голосом, и тем родственным чувством, с каким он относился ко всей его семье. Бывал он с ним и на охоте, когда Алексей Иванович был очарователен в своей несколько дикой красоте и отваге.

Бунин выводит его в рассказе «Антоновские яблоки» — в лице Арсения Семеновича Клементьева.

«...А на дворе трубит рог и завывают на разные голоса собаки. Черный борзой, любимец Арсения Семеновича, пользуясь суматохой, взлезает среди гостей на стол и начинает пожирать остатки зайца под соусом. Но вдруг он испускает страшный визг, опрокидывает тарелки и рюмки, срывается со стола: Арсений Семенович стоит и смеется.

— Жалко, что промахнулся! — говорит он, играя глазами.

Он высок ростом, худощав, но широкоплеч и строен, а лицом красавец-цыган. Глаза у него блестят дико, он очень ловок, в шелковой малиновой рубаше, в бархатных шароварах и длинных сапогах. Напугав и собаку, и гостей выстрелом, он декламирует баритоном:

*— Пора, пора седлать проворного донца
И звонкий рог за плечи перекинуть! —*

и громко говорит:

— Ну, однако, нечего терять золотое время! («Антоновские яблоки»).

И вот этот жизнерадостный человек лежит на столе. «В том самом зале, где две недели тому назад он стоял и улыбался на пороге, шурясь от вечернего солнца и своей папиросы. Он лежал с закрытыми

глазами, — до сих пор вижу их лиловато смуглую выпуклость, с великолепно расчесанными еще мокрыми смольными волосами и такой же бородой...» («Жизнь Арсеньева»).

Сначала Ваня тупо смотрел на покойника, ничего не чувствуя. Но к вечеру, к панихиде он понял, что случилось, и его объел ужас. Поражало и то, как «злоеще звучали возгласы священнослужителей, странно сменявшиеся радостно и беззаботно настойчивыми «Христос Воскресе из мертвых». («Жизнь Арсеньева»).

После панихиды к вдове стали подходить знакомые и выражать ей сочувствие. Подошел и один из лавочников в Глотова со словами: — Позвольте вас поздравить с новопреставленным...»

И несмотря на ужас и горе, Ваня это поздравление запомнил и через двадцать один год в рассказе «Астма» приводит его.

Им с Юлием постелили в кабинете. Ваня так одетый и повалился на диван, спал со странными кошмарами, — всё казалось, что сам покойник ходит вместе с гостями и всё переставляет, переносит мебель из комнаты в комнату.

Утром его особенно остро пронзила лиловая крышка гроба, поставленная у главного крыльца. Весь день ходил, как ошалелый, по саду, заглядывал в детскую, где малыши уже беззаботно играли, не понимая, что случилось. Трогала и плачущая украдкой нянька, называвшая их сиротами.

В доме шли панихиды, приезжали и уезжали родные, соседи, заходили местные друзья и знакомые. Прислуга с ног сбивалась, подавая то обед, то чай, то ужин...

На утренней панихиде было положение во гроб, и в гробу покойник казался страшнее, особенно от замены простыни золотым парчевым покрывалом.

Вторую ночь Ваня почти совсем не спал, в коридоре через дверь в зал он услышал чтение дьячка: «возвышают реки голос свой... возвышают реки волны свои...».

«Дрожь восторженных слёз охватила меня...» («Жизнь Арсеньева»). Он вышел через коридор на заднее крыльцо и долго ходил вокруг дома по двору, затем остановился и стал смотреть за реку на флигель, где жили Туббе, увидел в одном окне огонь...

«Это она не спит, — подумал я, — «Возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои», — подумал я, — и огонь лучисто задрожал у меня в глазах от новых слёз счастья, любви, надежд и какой-то иступленной, ликующей нежности.» («Жизнь Арсеньева»).

На третий день были похороны. Они воскрешены в «Жизни Арсеньева».

После поминального обеда все родные, друзья и знакомые разъехались. Остался только Алексей Николаевич с младшим сыном, который находился все «в том же обостренном и двойственном ощущении той самой жизни, непостижимый и ужасный конец которой я только что видел воочию.» («Жизнь Арсеньева»).

Дни он делил между книгами, читал «Фауста» Гёте, и свиданиями с Эмилией, которая, увы, собиралась к себе в Ревель. Может быть, Туббе и отсылали ее, боясь этого юного увлечения. Конечно, для него это был удар.

В день, когда Эмилия уехала, он, после обильных слез, ушел пешком в Озёрки, не дожидаясь отца, которому нужно было еще остаться, чтобы помочь племяннице-вдове в делах.

...«Какой восторг возбуждало тогда даже в самой глухой провинции это имя! Я кое-что из Надсона читал, и сколько ни старался, никак не мог растрогать себя. «Пусть яд безжалостных сомнений в груди истерзанной замрет» — это казалось только дурным пустословием. Я не мог питать особого уважения к стихам, где говорилось, что болотная осока растет и а д прудом и даже склоняется над ним «зелеными ветвями». Но все-равно, — Надсон был «безвременно погибший поэт», юноша с прекрасным печальным взором, «угасший среди роз и кипарисов на берегу лазурного южного моря...» Когда я прочел зимой о его смерти и о том, что его металлический гроб, «утопавший в цветах», отправлен для торжественного погребения «в морозный и туманный Петербург», я вышел к обеду столь бледный и взволнованный, что даже отец тревожно поглядывал на меня и успокоился только тогда, когда я объяснил причину своего горя.

— Ах, только и всего! — удивленно спросил он и сердито прибавил с облегчением: — Какой вздор лезет тебе, однако, в голову!

Но молодой Бунин долго не мог утешиться, и они с Юлием без конца говорили об этом событии, возмущаясь, вместе со всей левой Россией, Бурениным, незадолго до смерти поэта грубо издевавшимся над ним в «Новом Времени».

Вероятно, эта смерть побудила его еще более рьяно писать стихи, и наконец он сдался уговорам старшего брата и послал своего «Деревенского нищего», написанного еще в 1886 году, в журнал «Родина». Почему выбрали именно это стихотворение? Стихи совсем не бунинские? Были лучше, например:

*Шире, грудь, распахнись для приятя
Чувств весенних — минутных гостей!
Ты раскрой мне, природа, объятия,
Чтоб я слился с красою твоей.*

*Ты, высокое небо далекое,
Беспредельный простор голубой!
Ты, зеленое поле широкое!
Только к вам я стремлюся душой.*

Написаны эти стихи 28 марта 1886 года, когда поэту было всего пятнадцать с половиной лет. Были и другие стихи. Почему же послали наиболее слабые? Думаю потому, что в «Деревенском нищем» поэт будил «чувства добрые», и Юлий Алексеевич решил, что с этими «чувствами» скорее редакция примет, и не ошибся.

Конечно, волнений, особенно скрытых, было немало: напечатают ли?

Прошло месяца три, а в «Родине» его стихи не появлялись, он махнул рукой: «Не быть ему автором!»

Как-то в середине мая он поехал в Васильевское за книгами, на следующее утро он направился к Туббе, где ему всегда становилось грустно при воспоминании о Эмилиии...

В 1937 году, когда Иван Алексеевич был в Ревеле, столице Эстонской республики, после вечера, где он выступал, подошла к нему полная, небольшого роста дама. Это была Эмилиия!

Он утверждал, что «Пушкин был в ту пору подлинной частью моей жизни».

Ему было даже трудно определить, когда Пушкин вошёл в его жизнь. Он считал, что это — благодаря матери, которую звали пушкинским именем Людмила и которая читала ему с младенчества стихи Пушкина, что он отождествлял со своей жизнью. Было это и со стихами Лермонтова, тем более, что родовое имя Лермонтовых находилось в верстах тридцати от Озёр.

Летом у поэта было два увлечения: сначала его сердце «пронзила» тоненькая, худенькая барышня, с которой он столкнулся при выходе из библиотеки. Оказалось, что она гостит у своих родственников Рышковых; но с ней он не познакомился, так как в то лето его отец был в споре с Рышковым, и семьи не бывали друг у друга. И они только при встречах с барышней раскланивались, когда она с матерью и Любовью Александровной Рышковой шли к пруду. У неё был чахоточный вид, ей запрещено было купаться, и она только сидела разутая в тени и грела худенькие ноги на солнце. Но в свои бессонные ночи поэт подолгу простаивал перед усадьбой Рышковых и смотрел в окно, где она спала, — он знал, что ей отвели комнату Егорчика, который в это лето не жил дома.

Юный поэт писал ей стихи, о чем она и понятия не имела.

Всё кончилось после её внезапного отъезда, но быстро явилось утешение еще более приятное.

К Цвеленевым приехали погостить из Петербурга две барышни, дальние родственницы. Младшая была красива, ловка, весела, свободна в обращении, так что он терялся, испытывая ее превосходство. И все же они были в дружеских отношениях и много времени проводили вместе. Хотя она и помыкала им, он чувствовал, что она любит его общество. По целым дням они играли в крокет, а на вечерней заре скакали, сломя голову, по большой дороге, и он уже начинал увлекаться этой амазонкой. По ночам писал и ходил вокруг усадеб, особенно долго в лунные ночи. Но и эта история неожиданно прервалась: как-то он пришел к Цвеленевым играть в крокет, и его огорошило известие, что барышни на следующий день уезжают в Крым.

После их отъезда образовалась пустота, которую он не знал чем заполнить. Стояла рабочая пора, и он начал ходить на косьбу, попробовал и сам косить, научился всаживать вилы в тяжелый сноп и скидывать его на всё растущий воз: работа трудная, но веселая. Затем стягивал воз крепкой веревкой и сопровождал его на гумно.

Во время молотбы, когда особенно бывает уютно и оживленно в риге, он все время проводил там, и у него возникла дружба с молодыми бабами и девками.

Состояние Буниных, несмотря на урожай, таяло; началось переписывание векселей. Иногда нехватало денег на проценты, уже высокие. Отец чувствовал, что дела идут плохо, чаще запивал, порой бывал буен. Приходилось семье от него заператься, баррикадироваться в комнатах, он мог быть опасен, так как с ружьем во хмелю никогда не расставался. К счастью, это бывало не так часто.

Жили еще сытно. Хозяйствовала Настасья Карловна, женщина экономная, работающая. Евгений во-время начинал пахать, сеять, косить, молотить, стараясь подтянуть полевое хозяйство.

В ту пору как-то, по поручению отца, младший сын поехал в Елец, чтобы запродать зерно.

Скупщик оказался оригинальным человеком, стал расспрашивать о его планах, оказалось, что он читал его стихи в «Родине», признался, что и сам в молодости писал. Советовал ему серьезно отнестись к своему дарованию, так как надеяться ему не на что, — он прекрасно был осведомлен о положении бунинских дел.

На вокзал Ваня ехал очень взволнованным от этого разговора.

В книжном киоске он увидел «Пестрые рассказы» А. Чехонте и купил их. Всю дорогу до Измалкова он, не отрываясь, читал и прочел все. С тех пор Чехов вошел в его жизнь.

10 октября ему минуло семнадцать лет. Он стал задумываться о своей судьбе. Его тяготило, что он ничего, кроме Ельца, не видел. Летом кончается срок ссылки Юлия, который уедет в Харьков, где у него друзья. Он обещает, когда устроится сам, выписать к себе брата.

А пока нужно продолжать занятия: читать, писать, слушать лекции Юлия и вести с ним беседы на всякие темы, — прав елецкий ссыщик зерна.

Как-то его охватило сильное желание увидеть Толстого, которого он все выше и выше оценивал. Он оседлал своего коня и отправился в Ясную Поляну: путь держал на Ефремов, стоящий на Красивой Мечи, реке Тургенева, что его волновало. Он очень утомился за дорогу и, так как у него не было в этом городе знакомых, то он пошел в городской сад, сел на скамейку, а потом и заснул. Проснулся на заре и от утренней свежести, придя в себя, почувствовал робость. Денег у него было мало, и он повернул домой, гнал во всю прыть свою Кабардинку и, когда вернулся домой, то работник покачал головой, увидев в каком состоянии была его лошадь...

Жизнь в Озёрках с начала 1888 года продолжала течь по-прежнему, только все более и более чувствовалось оскудение.

Юлий вел оживленную переписку со своими друзьями, обосновавшимися в Харькове и звавшими его по окончании ссылки приехать туда, обещая устроить его на место.

Евгений с женой уже стали подумывать о том, чтобы отделиться и начать собственное дело. Вскоре они арендовали усадьбу Цвеленевых и поселились в доме. У Буниных стало просторнее и более беспорядочно. Когда варили варенье, то оно съедалось сразу столовыми ложками. За полевым хозяйством Евгений продолжал присматривать, но оно из-за отсутствия капитала и высоких процентов по векселям неуклонно шло на убыль.

Отец все чаще запивал, мать еще больше горевала, видя, что уже не бедность, а нищета не за горами. Болело сердце, что Юленька летом улетит, она понимала, что ему здесь делать нечего, и все же страдала от предстоящей разлуки. Юлий Алексеевич продолжал заниматься с младшим братом, но уже их занятия

походили больше на университетские семинарии, Ваня писал много стихов, летом даже отважился послать несколько стихотворений в толстый журнал «Книжки Недели».

Зимой сыграли свадьбу младшей падчерицы Отто Карловича, той Дуни, которая некогда пленяла Ваню. Выдали ее за сына Вукола Иванова, Александра, в будущем послужившего Бунину прототипом для рассказа «Я всё молчу!» Он в молодости играл роль мрачного человека, никем не понятого, делал вид, что он что-то знает, и это его слова: «Прах моей могилы всё узнает» и «я всё молчу»... Свадьба была пышная, свадебный пир происходил в помещичьем доме Бахтеяровых, которые все зимы проводили в городе. На пиру «молодой», сделав вид, что притеревшись к «молодой», оборвал ей шлейф, нарочно наступив на него, мучил он ее и в замужестве, иногда очень гадко, в конце концов она не выдержала и бросила его, а он понемногу дошел почти до нищеты.

Когда рассказ «Я всё молчу» был напечатан в газете «Русское Слово», кто-то показал его «Шаше». Тот прочитал и с возмущением сказал: «Уж если писать, так должен был писать всю правду, а не выдумывать...» (Видимо, он все же был доволен, что о нем напечатано в газете...).

Летние месяцы прошли в разговорах о переезде Юлия в Харьков. Мать сокрушалась, а младший брат двояко относился к этой разлуке: с одной стороны без Юлия ему будет одиноко и скучно, а с другой — есть надежда выбраться из Озёрок, пожить в губернском городе.

В июле очень поддержало его дух письмо Гайдебурова, взявшего три стихотворения для «Книжек Недели». Это уже не «Родина»!... Там печатались знаменитые писатели и поэты... Весь дом радовался, а у юного поэта снова заиграли мечты, надежды...

23 августа они поехали в Елец, где Юлий Алексеевич получил свидетельство на выезд и жительство в Харькове.

24 августа наступил день отъезда Юлия. Ваня поехал его провожать до станции Измалково. Заехали проститься с Пушешниковыми и Туббе. Конечно их оставили ночевать, и они поделили свое время между двумя близкими семьями. Их хорошо угостили, дали Юлию вкусных вещей в дорогу, на следующий день бывший поднадзорный отправился в Харьков. Пересадка была в Орле.

День был «свежий, осенний», записал младший брат. Пока ехали, говорили о пустяках, хотя на душе у Вани было печально. Юлий опять обещал, что выпишет его, как только устроится в Харькове. Но когда это будет?... А пока все одно и то же!

На измалковском подъеме около имения графа Комаровского, Юлий неожиданно предложил папиросу младшему брату, который в первый раз в жизни и закурил.

Очень характерный по легкомыслию бунинский штрих. Почему Юлий Алексеевич это сделал? Думал ли он, что куренье поможет Ване легче пережить разлуку? Был ли он уверен, что все равно он скоро закурит? Или просто хотел подчеркнуть, что Ваня уже взрослый?

Проводив брата, Ваня вернулся в Васильевское, где и переночевал. На другой день, после обеда, набрав книг, он грустно поехал домой. Дорогой думал о писателях, особенно о Толстом и Лермонтове, так как они были «из одних квасов».

И как ему показалась его юность бедна, ничтожна и неинтересна по сравнению с их жизнью.

Да, юность у него была трудная, непохожая на юность большинства людей его круга. Но она была нужна ему, как писателю.

Никогда бы он так не узнал, не почувствовал народа, если бы, кончив курс в елецкой гимназии, переехал в Москву и поступил в университет. Надо было жить в деревне круглый год, близко общаться с народом, чтобы все воспринять, как воспринял он своим редким талантом. Даже их оскудение принесло ему пользу. У него с самого раннего детства, как я писала, были друзья, сначала среди ребятишек, а потом из деревенской молодежи, с которыми он коротал много времени, бывая запросто в их избах, знал до тонкости крестьянский язык. Оскудение помогло ему глубоко вникнуть в натуру русского мужика, пережить на самом себе меняющееся отношение его к разорившимся барам, насмешливую презрительность.

Вернувшись домой, он застал семью в еще большем унынии, чем при проводах Юлия: мать сокрушалась, как устроится Юлий, отец запил, Маша слонялась без дела и только вертела для отца сигарки, а он ласково покрикивал: «Мукась, еще одну...» И, закуривая для отца, она незаметно приучилась курить сама.

К довершению пала Кабардинка, — ее опоили. Отец, желая утешить младшего сына, подарил ему свое любимое ружье, что Ваню тронуло до глубины души, ему всегда было тяжело сознавать, что отец очень мучается, считая себя виноватым перед детьми, особенно перед ним.

В сентябре Алексей Николаевич послал его запродать зерно, он остановился в «Ливенских номерах», и там случилось нечто, потрясшее его, как записано в его автобиографическом конспекте.

Вернувшись из Ельца, чтобы как нибудь развеять тяжелое состояние духа, он всё ездил верхом в Васильевское на винокуренный завод Бахтеярова, за подводками с картошкой. Осталась его запись: «Тепло, низкое солнце и зелено-золотой блеск накатанных дорог. Ноябрь, декабрь — еще стихи в «Книжках Недели».

В октябре ему стукнуло 18 лет.

Он послал корреспонденцию в «Орловский Вестник» о том, что в Глодове засыпало одного мужика во время того как он копал песок для помещика. Корреспонденция была напечатана.

В конце года появились там и его стихи, и рассказы.

Первый рассказ «Нефедка» был помещен в «Родине», как и «Два странника» в 1887 и 1888 годах, а также и статья о «Искусстве»; стал он посылать в «Родину» и «Литературные обозрения». Не знаю, где напечатаны были «Мелкопоместные», «Божьи люди», «День за день». Перечисляя эти рассказы, Иван Алексеевич замечает: «Кажется, не было писателя, который так убого начинал, как я!»

Осенью после отъезда Юлия, он стал делить свои досуги с сестрой. Ей было тринадцать с половиной лет, она была девочка, как я писала, восприимчивая и то, что делала, делала хорошо. Ей очень льстило, что брат стал приглашать ее на прогулки, и они два раза в день выходили из дому вместе: то гуляли вокруг пруда, то по большой дороге. Оба мечтали о будущем. Мечты брата были реальнее и выполнимее. Маша тоже страдала от одиночества. Единственное удовольствие было поехать в Васильевское: у Туббе были две дочери, подходящие ей по возрасту, но и они вскоре должны были перебраться в Ефремов, где их отец получил место.

Ваню мучила судьба сестры, но он был не из тех, кто мог посвятить свою жизнь другому, да и чувствовал, что при её характере и лени с ней ничего не поделаешь, — учиться, систематически работать она не хотела, да и шел ей всего четырнадцатый год.

Молодые Бунины жили в усадьбе Цвеленевых, где они открыли лавку: у Евгения Алексеевича было в ту пору одно стремление — стать самому помещиком. Настасья Карловна не обманула его ожиданий: оказалась хорошей «поддужной», кроме того у нее были небольшие деньги, данные ей в приданое.

Ваня же стал подумывать об отъезде и заводил об этом речь.

По вечерам он уходил на часок в очередную избу «на посиделки» куда вносил оживление своими шутками, а иногда и рассказами.

Ходил и «на улицу», где «страдали», плясали, и он сам иногда придумывал «страдательные» или плясовые, которые вызывали смех и одобрение.

«Но, что бы я ни делал, с кем бы ни разговаривал», — признавался он мне перед смертью, — «всегда меня точила одна мысль: мне уже восемнадцать лет! пора, пора!»

Развлекала его в ту пору охота, то с Евгением, то в одиночку, но охота была уже не прежняя: борзые перевелись, из гончих остались только две, с ними он и охотился. Приносил домой лишь русака, но и это было у них пиром...

Как-то он заехал далеко, незаметно очутился в Кропотовке, родовом лермонтовском имении. Дом был пуст, никто там не жил, присматривал за имением мужик, с которым он поговорил, угостив его табаком, грустно возвращался домой, думая о себе и сравнивая опять свою юность с лермонтовской... Какая разница!!!

На Святках брат и сестра поехали в Ефремов. Это был второй уездный город, который они посетили. Правда, брат один раз провел ночь в городском саду, когда, было, поехал к Толстому в Ясную Поляну, но он города почти не видел. Теперь он остановился в номерах Шульгина, так как перед отъездом получил гонорар за стихи от Гайдебурова, Маша же гостила у своих подруг Туббе, только что обосновавшихся в этом городке, который после Глотова казался им очень интересным. На Буниных же он не произвел большого впечатления, хотя он стоит на Красивой Мечи, которую описывал Тургенев. Елец казался им живописнее.

Молодежь веселилась, ездили по знакомым домам ряжеными на розвальнях. Среди их новых знакомых были и мои собствен-

ники, дети Юрия Гавриловича Ульянинского, беспутного, веселого помещика, давшего своей дочери библейское имя Руфь, а младшего сына, ставшего революционером, он назвал Вениамином.

Отто Карлович, которого прозвали «Ванажда», потому что он часто повторял это слово, образовав его из каких-то русских слов, — был очень радушен и неизменно веселился, радуясь на молодежь. Его жена, Александра Гавриловна, очень гостеприимная хорошая хозяйка их закармливала.

С грустью они покидали Ефремов.

Осталась краткая запись Ивана Алексеевича: «Поезд, метель, линия сугробов и щитов».

Вернувшись домой, он опять стал по вечерам заходить в избы. В одной он увидел однажды следующее:

«Изба полна баб и овец — их стригут.

На веретви на полу лежит на боку со связанными тонкими ногами большая седая овца. Черноглазая баба стрижет ее левой рукой (левша) огромными ножницами, правой складывая возле себя клоки сальной шерсти и без умолку говорит с другими бабами, тоже сидящими возле связанных лежащих бокастых овец и стригущими их.

Овцы лежат смиренно, только изредка пытаются освободиться, дергаются и бьются ногами и головой».

В другой раз попал на пение старинных песен:

«Все пели старинные песни:

— Матушка, с горы мёды текут,
Сударыня моя, мёды сладкие...
— Один-один мил — сердечный друг,
Да и тот со мной не в любви живет!
— Что запил, загулял, друг Ванюшечка,
Что забыл да забыл про меня!
— Воротися, веселье мое,
Я тебе-ли да радость скажу!
— Уснул, уснул, мой желанный,
У девушки на руке,
На кисейном рукаве».

Вот и все его развлечения!

4

Наступил 1889 год, год жизненного перелома младшего Бунина.

Брат с сестрой продолжали дружить, но несмотря на то, что Маша острее чувствовала поэзию, чем Юлий, она все же не могла заменить старшего брата, с которым он привык делиться всеми своими радостями, печалью и сомнениями, показывать ему всякую написанную им строчку, а главное, недоставало ему собеседника, отзывающегося на всякий вопрос с редкой ясностью ума.

Еще с начала осени младший Бунин стал изучать английский язык, — ему нравились английские поэты, с которыми он был

Одарен он был острым умом, наблюдательностью и независимым характером. Он очень в то время почитал Юлия, почти благоговел перед ним, но это не мешало ему с ним спорить, высказывать иногда очень резко свои мнения, например, о Надсоне. Юлий Алексеевич избегал резкостей. И даже в мою пору, когда Иван Алексеевич нападал на произведение очередной знаменитости, если оно было ему не по вкусу, Юлий Алексеевич говорил: «Это написано с его обычными достоинствами и недостатками»...

Разбирая архив Ивана Алексеевича, я нашла в его записях, нигде ненапечатанную заметку о Полонском. Привожу ее здесь:

«В ранней юности многим пленял меня Полонский, мучил теми любовными мечтами, образами, которые вызывал он во мне, с которыми так разное счастлив я был в моей воображаемой любви. Что я тогда знал! А как верно и сильно видел и чувствовал!

Выйду за оградой
Подышать прохладой,
Слышу милый едет
По степи широкой...

Степь, синие сумерки, хутор — и она за белой каменной оградой, небольшая, крепкая, смуглая, в белой сорочке, в черной плахте, босая с маленькими загорелыми ступнями...

Лес да волны, берег дикий,
А у моря домик бедный,
Лес шумит, в сырые окна
Светит солнце, призрак бледный...

И я видел и любил желтоволосую северо-цветисто одетую финку...

Пришли и стали тени ночи
На страже у моих дверей.
Смелей глядит мне прямо в очи
Глубокий мрак ее очей...

О какой грозный час, какое дивное и страшное таинство любви!»

Вот еще запись его о тех днях:

«Я рос одиноко. Всякий в юности к чему-нибудь готовится и в известный срок вступает в ту или иную житейскую деятельность, в соучастии с общей людской деятельностью. А к чему готовился я и во что вступал? Я рос без сверстников, в юности их тоже не имел, да и не мог иметь: прохождения обычных путей юности — гимназии, университета — мне было не дано. Все в эту пору чему-нибудь, где-нибудь учатся, и там, каждый в своей среде, встречаются, сходятся, а я нигде не учился, никакой среды не знал».

В конце февраля или начале марта молодой поэт с малыми деньгами отправился в Орел, а затем в Харьков.

Ехал, как всегда, на Измалково через Васильевское, где и переночевал.

Мать благословила его родовой чубаровской иконкой в серебряной почерневшей ризе — трапеза Трех Странников у Авраама. Иван Алексеевич никогда с тех пор не расставался с нею. Она висела над его постелью, где бы он ни ночевал. Стояла она и в возглавии его все четыре дня, пока его тело пребывало дома, висит и теперь на том месте, где висела при нем.

Переночевав в Васильевском у Пушешниковых, с грустью взглянув на дом, где жили Туббе, он на следующий день отправился в Измалково, взял билет до Орла.

В вагоне он остро чувствовал и грусть по дому, и нетерпение.

Орёл возбудил его прежде всего радостным сознанием, что «наверху — Москва, Петербург, а внизу — Харьков, Севастополь, сказочный город молодости отца и Толстого». В Орле было «мягко снежно». Побродив по улицам, зайдя в парикмахерскую, он отправился в редакцию «Орловского Вестника».

С бьющимся сердцем он подошел к длинному серому дому, стоящему в саду. Открыв дверь, он попал в типографию, был ошеломлен движением машин, их рокотом, большими белыми бумажными листами, запахом краски...

Узнав, что ему нужна редакция, рабочий проводил его туда.

Издательницей оказалась, действительно, молодая привлекательная женщина, Надежда Алексеевна Семенова, которая, расспросив его о сотрудничестве в «Книжках Недели», предложила ему стать помощником редактора ее газеты. Он поблагодарил, но сказал, что должен завтра ехать с пятичасовым утренним поездом в Харьков к старшему брату, с которым хочет посоветоваться. Она была так мила, что дала ему аванс и оставила ужинать, а потом предложила и переночевать в редакции. Как всё это было типично для провинциального русского гостеприимства!

Весь вечер прошел в оживленном разговоре. Настоящий редактор, Борис Петрович Шелихов, маленький, взбалмошный сангвиник, с торчащими жесткими волосами, с горящими черными глазками тоже за ужином уговаривал молодого сотрудника остаться в Орле и работать в их газете.

Его вывел Бунин в своем рассказе «Гость» в лице Адама Адамовича. У него вечно были всякие романтические истории. Иван Алексеевич говорил мне, что по внешности он всегда ему напоминал «настоящего дьявола».

Каким же был в ту пору молодой Бунин? Есть портрет, помеченный 1887 годом. Мне кажется, это ошибка Ивана Алексеевича: снялся он по всем данным не раньше весны 1889 года, когда уехал впервые из дома, в Орле или Харькове, когда ему было 18 лет, а не 16. На фотографии он старше 16-ти лет.

На портрете он уже с едва пробивающимися усами, у него тонкое лицо с красивым овалом, большие немного грустные глаза под прямыми бровями. Волосы густые, расчесаны на пробор. Одет

состояние или хорошую службу и сочувствовали революционному движению, — вот у них все эти «радикалы» часто проводили вечера в спорах, слушали музыку. Иногда тайно приезжал бежавший из ссылки, иной раз и какой-нибудь известный революционер; тогда все подтягивались, вели бесконечные разговоры, обсуждая политическое положение, потом за ужином затягивали революционные песни и делились воспоминаниями, произносили тосты, шутили друг над другом.

Молодой поэт не подходил к этой компании, но все же, когда он в первый день попал в неё, он был ошеломлен массой волнующих его впечатлений, — он увидел то заповедное общество, о котором так таинственно рассказывал Юлий по вечерам на большой дороге.

Низок, где они ежедневно столовались, восхитил деревенского барчука своей стойкой с южными закусками и жареными двухкопеечными пирожками.

Все отнесли к младшему, еще совсем желторотому брату Юлия, очень приветливо, сразу приняли его в свою среду и говорили в его присутствии обо всём. Вероятно, Юлий уже рекомендовал своего Вениамина, как человека, умевшего хранить тайны.

Но как этот Вениамин не подходил своим мироощущением, своим художественным восприятием жизни, непризнанием авторитета к этой среде!

Характер у него был вспыльчивый, независимый, порой дерзкий, мнения свои он отстаивал яростно, спорил со всяким, какого бы ранга он ни был. Ему почти все прощали его выходки, насмешки и восхищались его умением изображать кого-нибудь из отсутствующих.

Скоро у него оказались «друзья» и «враги», то есть те, кто для него были милы и те, кто, по типу, ему были нестерпимы. Эта черта у него оставалась на всю жизнь и не зависела даже от того, как данное лицо относилось к нему. Начиналось с физического, «кожного» неприятия человека, а затем почти всегда это неприятие переходило и на его душевные качества.

Любимым его занятием в юности и до последних лет было — по затылку, ногам, рукам определять лицо и даже весь облик человека. А потом уже и характер и душевный склад его, и это бывало почти всегда безошибочно.

В России начинающие писатели, принося свои рукописи, иногда показывали ему карточки девушек, и он определял их характер на удивление молодым людям.

Конечно, в те времена он еще не дошел до той виртуозности, до какой доходил впоследствии, но все же очень выделялся в среде «радикалов» и «пострадавших», у которых именно отсутствует почти всегда этот интуитивный нюх на людей, чем и объясняется возможность провокаторов в их среде. Люди подполья определяют свое отношение к товарищам по их высказываниям и поступкам и не чувствуют фальши в их проповедях и действиях.

Нам рассказывали, что, когда однажды Азеф пришел в семью известного революционера, то нянька доложила:

— Барыня, к вам провокатор пришел! — чем и вызвала общий смех.

А у неё было, конечно, художественное восприятие, какое

нередко встречается в народе, и она сразу почувствовала, что этот Иван Николаевич дурной человек, а так как среди революционеров самым дурным считается провокатор, то она его так и определила.

И такое же непосредственное чувство людей было с молодых лет у младшего Бунина.

Возненавидел он и некоторые революционные песни, главным образом за фальш, как, например, «Стеньку Разина», — о ней он уже писал, — или «Из страны, страны далекой...» особенно его возмущали строки: «ради вольного труда, ради вольности веселой собралися мы сюда...»

— Хорош труд: пьют, поют, едят, без усталости болтают и спорят, большинство из них бездельники! Всем возмущаются, всех критикуют, а сами?...

Задевал его и язык их, совсем иной, чем язык его семьи, соседей, мужиков, мещан, язык бледный, безобразный, испещренный иностранными словами и словечками, присущими этой среде, повторением одних и тех же фраз, например: «чем ночь темней, тем ярче звезды» или «бывали хуже времена, но не было подлей» «третьего не дано»... и так далее.

6

В Харькове он прожил месяца полтора, два. Прожил приятно. Волновал его город, казавшийся ему огромным, пленявший его своим светом, распускающейся зеленью высоких тополей, грудным говором хохлушек, медлительностью и юмором хохлов.

Но времени он не терял: по утрам проводил несколько часов в библиотеке, где стал знакомиться и с литературой по украиноведению, читал и перечитывал Шевченко, от которого пришел в восхищение, но больше всего его увлекало «Слово о полку Игореве», которое он изучал. Оценив «несказанную красоту этого произведения, решил побывать во всех местах, где происходила эта поэма. Многие он запомнил наизусть и часто читал целые куски Юлию, когда они после обеда отдыхали в их каморке, особенно восхищаясь «Плачем Ярославны». Размышлял и о «Думах» Драгоманова.

Иногда заходил в трактир, когда оказывалась мелочь в кармане, где прислушивался к новому для себя языку, наблюдал за женщинами, которые нравились ему своими повадками, загорелыми лицами, черными глазами, за местными мужиками, которые сильно отличались от великороссов. Бродил и просто по улицам, изучал толпу, словом, времени не терял.

А в час обеда, голодный, всегда бывал со всей компанией в низке, попадая совсем в другую среду, в которой кое-что его раздражало, но многое было приятно. Он уже полюбил некоторых, но опять не было сверстников, — почти все были лет на десять и более старше его.

После обеда они с братом возвращались в свою каморку и отдыхали, — это время Ваня очень любил, оно напоминало озёрскую жизнь, их прежние бесконечные беседы. В эти часы он рассказывал о прочитанном, много говорили о Громаде, о том движении, которое начиналось в Малороссии, говорили они и о друзьях; некоторых младший брат критиковал, а старший за-

когда он познакомился с нею, она, услышав фамилию Бунин, решила, что это его стихи напечатаны в «Книжках Недели», и как он ни разуверял ее, что они написаны его младшим братом, она осталась при своем убеждении, решив, что Юлий Алексеевич, по скромности, отрицает свое авторство.

Но отговорить младшего брата было невозможно. Он отправился на поклон. Очень волновался. Когда горничная ввела его в гостиную, а через несколько минут вышла настоящая писательница, то он, и через свое волнение, заметил, что она еще больше, чем он, смущена и волнуется приходом поклонника. Но поэта она в нем не признала, все повторяла, что она познакомилась с его братом, поэтом, и на все уверения, что не брат, а он печатает стихи в «Книжках Недели», не обратила внимания. О своем посещении Шабельской Иван Алексеевич рассказывает в своих «Заметках». (1 т. изд. «Петрополиса».)

Иногда младшему Бунину давали небольшую работу в земской управе. Получив немного денег, он стал мечтать о Крыме, — ему хотелось взглянуть на заповедный Севастополь, о котором так много наслушался. Кто-то, на его счастье, достал ему бесплатный билет на имя рабочего, ушедшего в отпуск в деревню.

И он, распрощавшись с Юлием и друзьями, поздно вечером влез в переполненный вагон. Он признавался мне, что ему было очень неприятно ехать под чужим именем, отравляла мысль, что он попадетя, если спросят его фамилию... Но, к счастью, все прошло благополучно.

За время пребывания в Харькове он очень изменился и физически, и умственно, и душевно. Он обогатился знаниями по украинскому вопросу, почувствовал и полюбил серьезную музыку, в спорах о литературе он глубже понял Толстого, Чехова, хотя и на того, и на другого его новые друзья и приятели нападали: на Толстого за проповедь «непротивления», за «келью под елью», а Чехова большинство даже всерьез не хотело сравнивать с Короленко, Златовратским, прежде всего за то, что он «подписывался Чехонте, сотрудничал в юмористических журналах»... Молодого поэта такое отталкивание удивляло, он, конечно, не понимал их до конца, но чувство возмущения уже жило в нем, и он был рад хоть на несколько дней вырваться из среды, которая всё же влияла на него и как-то мешала писать так, как ему хотелось...

В тесноте, духоте, дыму от сигарок он все же задремал. Очнулся на заре у какой-то станции. Огненно-розовый восток привел его в восхищение, но всего более удивил его курган... «а в двух шагах от нас, на бесконечной и гладкой, как ток, степи, стоит и глядит на меня большой могильный курган... До сих пор не могу понять, чем он так поразил меня. Это было нечто ни на что не похожее ни по своим столь определенным и вместе с тем мягким очертаниям, ни по тому главное, что таилось в них. Это было нечто совершенно необыкновенное при всей своей простоте, такое древнее, что казалось бесконечно чуждым всему живому, нынешнему, и в то же время было почему-то так знакомо, близко, родственно.» («Жизнь Арсеньева»).

На следующее утро было совсем лето. «Маленький белый вокзал, весь увитый розами»... «Как-то совсем иначе, радостно и

как будто испуганно, звонко крикнул паровоз, трогаясь в путь. Когда-же снова выбрался он на простор, из-за диких лесистых холмов впереди вдруг глянуло на меня всей своей темной громадной пустыней, поднимавшейся в небосклон что-то таяжно-синее, почти черное, влажно-мглистое, еще сумрачное, только что освобождавшееся из влажных и темных недр ночных, и я вдруг с ужасом и радостью узнал его! Именно узнал!» («Жизнь Арсеньева»).

7

Севастополь, несмотря на красоту своей белизны, нарядность и совершенно новую толпу, его разочаровал. Он оказался не тем, каким с детства жил в его душе; от Севастополя той поры не осталось ничего, и только на Братской могиле он почувствовал нечто из прошлого.

Весь день он неугомымо бродил по городу, побывал во всех его частях, а вечером где-то на окраине переночевал в дешевых номерах.

Проснувшись на заре, он пошел пешком по белому бесконечному шоссе. Шел так быстро, что в полдень миновал Балаклаву. Его поразил жутью нагой мир. Нигде никакой растительности. Но эти голые, серые, сиреневые и пепельные груды были ему по душе, и тут начала зарождаться его любовь к безлюдным, диким местам.

Близ дороги он заметил отару овец с чабаном, в руке которого был высокий крюк. Он подошел к нему и, увидев, что он ест брынзу, попросил его немного продать и протянул ему двадцать копеек. Мальчик, не взяв денег, подал ему весь мешок с радостной улыбкой. Он вытащил брынзу, хорошо закусил, и, поблагодарив пастуха, зашагал дальше. По шоссе обгоняли его или ехали навстречу ему коляски с теми, что надеялись излечиться от своего страшного недуга.

До Байдарских Ворот он добрался уже в темноте. Смотритель станции, узнав, что ему не нужно будет лошадей, не пустил его в дом. Он просидел на крыльце, иногда выходил за ворота, слушал шум моря, ночь была темная, с моря несло холодом, но все же иногда он забывался под шум «тихого бора». На обратном пути он чувствовал себя разбитым. На счастье, солдат в двуколке согласился подвезти его до города. На севастопольском вокзале он пишет длинное письмо отцу, конечно, не сохранившееся: через много лет он рассказывал мне об этом своем первом странствии необыкновенно ярко.

Я очень жалею, что письмо к отцу до меня не дошло. Уверена, что, написанное под первым впечатлением, оно проникнуто было силой и страстью, может быть, не меньшей, чем письма с Цейлона, которые он посылал брату, тоже сразу после виденного и пережитого. На меня они производили сильное впечатление; я все это видела, но, должна сознаться, не все замечала.

Такого быстрого аппарата, как у Ивана Алексеевича, я ни у кого не наблюдала. Бывало, говоришь: «Да посмотри на это!» — Я уже видел!... — А я не понимаю: он смотрел в другую сторону. Но потом, через некоторое время, когда он писал об этом, я с

Это потрясло и Юлия Алексеевича, и мужа, который несмотря на изменение убеждений, оставался поклонником Чернышевского, его «Что делать»; он не стал мешать им. Возник только вопрос о ребенке. Ради дочери родители остались жить под одной крышей, тем более, что вскоре Юлий был арестован: год тюрьмы и три года ссылки.

Может быть, муж надеялся, что за четыре года разлуки их любовь угаснет. Но она еще более укрепилась. И, когда Юлий Алексеевич осел в Харькове, она приезжала к нему время от времени, останавливаясь в гостинице, и на один из таких приездов попал Ваня.

На другой день она уехала домой. Но и Ваня недолго оставался у Юлия. Ему стало с ним тяжело.

Он купил себе за семь рублей костюм и каскетку и уехал домой, не завернув даже в «Орловский Вестник».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

В Измалкове Иван Алексеевич нанял на косых колесах тележку и отправился в Васильевское. Там переночевал. Софья Николаевна нашла его очень возмужавшим. На другой день она дала верховую лошадь, которую он при оказии должен был вернуть.

С отцом он вел бесконечные разговоры о белом городе, о том, какой Севастополь стал веселый, большой, наполненный нарядной публикой, моряками и матросами в белом.

Мать не могла наглядеться на сына, — ведь никогда она так надолго не расставалась с ним! Она видела, как он изменился, но в чем — понять не могла. Расспрашивала о Юлии. Ваня рассказывал подробно, не упоминая о Елизавете Евграфовне. Людмила Александровна сокрушалась, что ее первенец живет в таких условиях, но Ваня успокаивал, уверяя, что скоро освободится вакансия, и у Юлия будет хорошая служба.

Дома пробыл недолго. Стал собираться в Орёл, — говорил, что там, вероятно, он получит место. В семье уже царил бедность. Стали поговаривать о продаже земли: оставят себе только усадьбу и несколько десятин для собственного прокормления.

Пришел срок платить проценты в орловский дворянский банк. Родители решили воспользоваться поездкой Вани, дали ему денег. Но он деньги не все внес в банк, а купил себе кавалерийские сапоги, синюю тонкого сукна поддёвку, дворянскую фуражку, бурку и седло. И, конечно, сразу же снялся в этом наряде. Это было в 1889 году, а не в 1891, как ошибочно помечено на фотографии, приложенной к IV книге Библиотеки «Огонек», издательства «Правда».

В «Орловский Вестник» он пришел рано, застал Надежду Алексеевну Семенову за утренним чаем. Она встретила его, как близкого знакомого. С интересом слушала его рассказы о Харькове, Крыме, настойчиво просила о сотрудничестве. Сказала, что сейчас познакомит его с двумя девицами: одна родная племянница Шелихова, дочь елецкого врача Пащенко, другая её подруга, Елена Николаевна Токарева. (Она написала Ивану Алексеевичу в 1934 году, после нобелевской премии, из Лиона, многое вспоминала. Она была замужем за Никитенко).

Обе барышни вышли в «цветисто-расшитых русских костюмах». В те времена, особенно в провинции, была на них мода. «Пащенко,

— как рассказывал Иван Алексеевич, — была в пенсне, но черты лица были у нее красивые.» Она показалась ему умной, развитой девицей.

В Орле он пробыл недолго. По дороге, в Васильевском, познакомился с братьями Шейман. Заехал к ним и на оставшиеся деньги купил верховую кобылу.

Евгений сразу понял, на что были истрачены деньги, данные на уплату процентов в банк. Разразился скандал, но, как всегда у Буниных, быстро угас. Заступилась мать: «И прекрасно сделал, что оделся, — имение моё, а ему и так меньше всех досталось»... Отец только махнул рукой.

Летом он ездил в Елец и там познакомился и сразу подружился с Арсиком Бибиковым, сыном елецкого помещика, очень милым юношей, на два с половиной года моложе его. Он, оставшись чуть ли не на третий год в том же классе, решил поступить в земледельческую школу под Харьковом, чтобы «хозяйничать в своём имении по всем правилам науки»... И друзья уже мечтали, что будут, когда Ваня поедет к брату в Харьков, встречаться и вместе проводить праздники.

Когда Иван Алексеевич в ноябре поехал в Харьков, он завернул в редакцию «Орловского Вестника», где гостила племянница Шелихова, Пашенко. И он застрял там на неделю, и они за это время подружались, много спорили; она хорошо играла на рояле, даже мечтала о консерватории.

Она была почти на год старше Бунина.

Взяв небольшой аванс из «Орловского Вестника», молодой сотрудник газеты покатил в Харьков, где нашел перемены: уже не бедали в низке, а столновались всей компанией в семье Воронец, состоявшей из мужа, жены и подростка сына. Хозяйка была избалованная женщина, — её называли «королевой», — но денег было так мало, что (как она мне рассказывала, когда я встречалась с ней в Неаполе и на Капри, во время их эмиграции после 1905 года), «каждую фасоль надо было делить пополам»... Младшему Бунину не по карману было питаться даже у них, и он ел, как попало.

В праздничные дни он ходил к Арсику, который учился в земледельческой школе под Харьковом. Замечательно: в подобные школы в стране земледельческой больше всего поступали ученики непреуспевающие.

Арстик был юноша одаренный, у него оказался сильный голос, он удачно играл в любительских спектаклях, писал стихи, но учиться не хотел. Внешность у него была хорошая: высокий рост, красивый, татарского типа, брюнет.

Он всегда провожал своего друга до самого города. Приходилось итти лесом, и его густой бас жутко звучал:

«Восстаньте из гробов»...

Иван Алексеевич вспоминал это и признавался, что ему бывало, действительно, не по себе в такие минуты...

Этот приезд был не очень удачный: младший Бунин заболел. Денег не было, — он недоедал. Когда слег, Воронцы взяли его к себе.

Есть его запись: «Я в Харькове в ноябре нищий, больной у Воронцов».

Бунин, заработавши немного денег, решил отправиться на могилу Шевченко, находящуюся поблизости древнего города Канева. Уже полтора года Шевченко был его кумиром, он считал его большим поэтом, «украшением русской литературы», как он говорил и писал. Денег было, конечно, в обрез; ехал в третьем классе, а по Днепру плыл на барже с дровами, устроившись за гроши. Он говорил мне, что это первое странствие по Малороссии было для него самым ярким, вот тогда-то он окончательно влюбился в неё, в её дивчат в живописных расшитых костюмах, здоровых и недоступных, в парубков, в кобзарей, в белоснежные хаты, утонувшие в зелени садов, и восхищался, как всю эту несказанную красоту своей родины воплотил в своей поэзии простой крестьянин Тарас Шевченко! Восхищался и тем, что он в детстве ушел в степь «искать конец света», и Иван Алексеевич грустно прибавлял: «Такие люди, которые в детстве искали конец света, не могут в дальнейшей жизни ничего себе нажить». Он признавался, что ни одна могила великих людей его так не трогала, как могила Шевченко, находившаяся близ старинного города Канева, «места крови», где почивают на старинных кладбищах герои и защитники казачества. Могила находится на горе, откуда открывается вид на Днепр, на далекие долины, на рассыпанные села, на то, что так любил украинский поэт.

Могила простая, с белым крестом, а рядом окруженная мальвами, маком и подсолнечниками белая хатка, мечта, несбывшаяся в жизни Шевченко. В хатке на стене — большой портрет поэта, а на столе — «Кобзарь». Это особенно растрогало Бунина, который остро переживал его тяжелую жизнь, одиночество и нищету... К сожалению, денег было мало и у великорусского поэта: надо было возвращаться домой. Вернулся полный впечатлений, загоревшим, без конца рассказывая о пережитом.

«Орловский Вестник» предложил ему издать книгу стихов. Это была его заветная мечта, о которой он во время своего пребывания в Харькове поведал друзьям, и один из них обрушился на него:

— Что вы затеваете, ведь вы будете рвать на себе волосы через несколько лет от стыда!

Но наш поэт не внял мудрому голосу, а все силы приложил, чтобы его мечта осуществилась. И как потом всю жизнь, до самой смерти, сокрушался он о своем поступке. Много бы дал, чтобы эта книжка сгнула с лица земли...

«Орловский Вестник» сначала предложил 500 рублей за бесконечное количество экземпляров и требовал не меньше 150 стихотворений в книге. Поэт не согласился на эти условия. И книга была издана: 500 экземпляров за 100 рублей на одно издание.

Первая рецензия были литератора Ивана Ивановича Иванова, который очень раскритиковал книгу. Вторая — Буренина. Тот в газете «Новое Время» написал: «Еще одна чесночная головка появилась в русской литературе!»

Бунин написал о Николае Успенском, для этого съездил к его тестю, священнику, и матушка дала ему ценный материал об этом несчастном писателе. Иван Алексеевич всегда отзывался о нем, как о писателе-художнике, что он особенно с молодых лет ценил. Он говорил, что и Глеб Успенский высоко ставил талант своего двою-

корректора. После этого и пришлось Бунину замещать его, пока не нашли другого.

В середине января Пашенко уехала домой, за ней приехала мать, «маленькая неприятная женщина» по отзыву Ивана Алексеевича. Он говорил с ней о его желании вступить в брак с её дочерью, но Варвара Петровна Пашенко отнеслась к его предложению грубо отрицательно, чем выбила его из рабочей колеи. Но всё же, сказав, что ему нужно съездить домой, он проводил их до Ельца и, не заглянув в Озёрки, вернулся в Орёл.

Там сильно скучал и томился: письма её не радовали, — она писала с оглядкой.

Вот его послание того времени к Юлию Алексеевичу:

*О чем, да и с кем толковать?
При искреннем даже желаньи
Никто не сумеет понять
Всю силу чужого страданья...
И каждый из нас одиночек,
И каждый почти что невинный,
Что так от других он далек,
Что путь его скучен и длинный.*

Юлий Алексеевич получил в октябре 1890 года место в полтавском губернском земстве, в статистическом отделении, прилично оплачиваемое. Он стал звать младшего брата к себе, втайне надеясь отговорить его от такой ранней женитьбы, но он не знал о силе его любви.

Работать в «Орловском Вестнике» приходилось много, хотя первое время после разговора с В. П. Пашенко, ему работать было трудно, — и он поругался с Шелиховым, который не знал о том, как его сестра приняла предложение молодого Бунина. Но, переломив себя, последний писал даже статьи о мукомольном деле или о крестьянских кредитах, о чем он не имел ни малейшего понятия. Он обращался за сведениями к брату, и тот присылал ему из Полтавы нужный материал. Приходилось отправляться и на заседания Городской Думы, писать о них отчеты, и этим он был так занят, что не мог бывать ни на концертах, ни в театре.

В феврале младший брат поехал погостить к Юлию.

Полтава его очаровала и своим еще более южным светом, и тенистыми садами, и широкими видами на беспредельные поля, и жизнерадостными, сильными хохлушками, и чудесными песнями.

Конечно, братья много говорили о его намерении жениться. Юлий Алексеевич пробовал отсоветовать, указывая на его молодость, необеспеченность, но, поняв, что все доводы бесполезны, махнул рукой.

В это время Иван Алексеевич вошел в переписку с писателем Коринфским и критиком Лебедевым.

О Аполлоне Коринфском я нашла запись Ивана Алексеевича, помеченную 23 февраля 1916 года.

...«Говорили почему-то о Коринфском. Я очень живо вспомнил его, нашел много метких выражений для определений не только его лично, но и того типа, к которому он принадлежит. Очень хорошая

Его спутница не раз заводила разговор о его романе, но скоро убедилась, что он уже в таком состоянии, когда человек бывает глух и слеп.

Иван Алексеевич иногда, с грустной улыбкой, много лет спустя говорил мне, что Надежда Алексеевна была его «непростительной пропущенной возможностью». Он понял только позднее, что он «действительно, нравился ей, и что было бы лучше, если бы он увлекся ею, а не Пашенко». Повторял это он и незадолго до смерти, всегда восхищаясь этой умной, изящной, обаятельной женщиной. Но он был юн, когда в первый раз увидел её, и она показалась ему недоступной.

Мучила его в те дни и мысль о призыве: возможно, если он окажется годным, то грозит разлука с Пашенко на три года! Как это перенести? Не было уверенности, что она не изменит ему...

В редакции атмосфера была любовная, особенно много романов было у Шелихова, — последний роман серьезный, он расхотелся с Семеновым, бросил детей и решил соединить свою жизнь с Померанцевой. Это человек, редкий по темпераменту, «маленький с быстрыми движениями, с горящими глазами, — именно дьявол!» — повторял не раз Иван Алексеевич, — «постоянно со всеми бранившийся, особенно часто с высоким, мрачным корректором, на которого он, при своем маленьком росте, подпрыгивая, бросался с кулаками...»

По возвращении из Москвы, сдав все свои корреспонденции, молодой сотрудник поехал домой, а оттуда к Евгению в его новое имение. Оно было небольшое, двести десятин земли. Усадьба, с одноэтажным домом в фруктовом саду, находилась вблизи сельца Огнёвки. Бунин взял ее в свою поэму «Деревня», под названием Дурновка.

Стояли погожие августовские дни, он от зари до зари бывал в отъезжем поле.

Накануне своего отъезда они с Евгением проговорили до двух часов ночи. Главная тема: его любовь и желание вступить в брак с Пашенко. Евгений тоже был против этого брака, пытался отговаривать, но, конечно, без всякого успеха. Говорили и о планах последнего, который вместе с женой работает без усталости, так как понимает, что только непрерывный труд позволит им удержать Огнёвку, на которой лежит банковский долг. Они мечтали выкупить эту закладную, чтобы под старость иметь возможность отдохнуть. Младший брат укорял его, что он из-за благ земных забросил живопись, поставил крест на своем таланте. Евгений Алексеевич возражал, что уже поздно, что руки у него испорчены работой, а для себя он будет, когда немного приведет имение в порядок, ездить зимой в Москву там работать под руководством какого-нибудь художника в его мастерской.

Оба сокрушались о родных. Евгений был уверен, что не пройдет и трех лет, как от Озёрок ничего не останется: очень высокие проценты по векселям, земля продана, а с усадьбы и нескольких десятин дай Бог им самим прокормиться. «Ну, конечно, как обзаведусь мебелью и всем необходимым, перевезу всех к себе...»

Волновало в эти дни поэта, что всего в нескольких верстах находится родовое поместье Лермонтовых, в котором он некогда был. Но в этот раз побывать там он не удосужился.

В августе Пашенко получила место в управлении Орловско-Витебской железной дороги. А Иван Алексеевич снова стал работать в «Орловском Вестнике». И проработал там до октября. Надо было ехать в деревню, — готовиться к призыву. Евгений советовал ему месяц голодать и почти не спать, чтобы явиться на медицинский осмотр в болезненном виде. В Озёрки он только заглянул, боясь, что мать будет страдать от его режима, и направился к Пушешниковым, где и пробыл больше месяца.

Софья Николаевна рассказывала мне, что он «действительно ничего не ел и почти не спал, был нервен и под конец своего пребывания у них едва держался на ногах...»

Он много читал, писал Юлию, вел живую переписку с Варварой Владимировной, портрет которой стоял на его письменном столе. Его ранило спокойное её отношение к тому, что его могут признать годным, и тогда разлука на три года! У неё не было стремления успокаивать его. Она знала, что он больше всего мучается при мысли о разлуке с ней... Но она не проявляла ни беспокойства, ни тревоги.

Утром 15 ноября он уехал в Елец на «ставку» и явился на медицинский осмотр в воинское присутствие, бросив на несколько дней свой пост, чтобы иметь силы добраться до города.

Он вынул дальний жребий, 471. Кроме того, доктор Пашенко, не смерив, как следует, его, крикнул, что объем груди у него ниже нормы, и он был зачислен в синевилетники, то есть в число тех, которых призывают только во время войны.

После освобождения его от воинской повинности, Варвара Владимировна согласилась соединить с ним свою жизнь, уступив отцу лишь в том, что они не будут венчаться.

Молодой Бунин, несмотря на отказ от венчания, был счастлив. Он написал обо всем Юлию, который ответил, что ждет их к себе и что надеется, что рано или поздно ему удастся обоих устроить в статистическое отделение. Сообщил, что квартира уже снята.

Радостным он поехал домой, но нерадостное было свидание... Родные питались почти одними яблоками, даже хлеба не было вволю, так как то, что присылал Юлий, уходило на проценты по старым векселям. Мужики тоже отощали; в России был голод.

Из Озёрок, через Васильевское, он приехал в Орёл, где ждала его Варвара Владимировна. Прогостив несколько дней в уютной обстановке у «тетеньки», он, как ему тогда казалось, навсегда распрощался с «Орловским Вестником», о котором, несмотря на его бесконечные ссоры с Шелиховым, у него на всю жизнь сохранилось светлое воспоминание, особенно об издательнице. Вспоминал о ней и в последние недели своей жизни.

В Орле в эти годы ему порой бывало невыносимо тяжело. Но были и радости, как например, издание его первой книги стихов «Орловским Вестником».

В редакции он научился работать, — чем только ему в ней ни приходилось заниматься. Хорошо он узнал и типографское дело.

Кроме того, в дни одиночества, когда Варвара Владимировна уезжала домой, он особенно остро наблюдал за всем: и за посетителя-

ми редакции, и за людьми на улице, и в трактире, где он пил чай, следя с зоркостью за тем, что делалось вокруг. Когда водились деньги, он нанимал извозчика на вокзал и обедал там, рассматривая пассажиров, ехавших на север и на юг. Его жадный взгляд ловил всё, но он еще не умел превращать свои наблюдения в творчество, от чего немало страдал и ничего тогда, — как он говорил потом, — не было им написано, кроме стихов, очерков, перевода «Гайаваты», несколько же рассказов, которые он печатал в газете («Два странника», «Божьи люди», «День за днем») или статья «Об искусстве», по его мнению, были крайне слабы.

За эти годы он возмужал, изменил прическу. Остался портрет. Он ошибочно обозначил его 1889 годом; вероятно, смешал его с портретом в бурке, в ней он снимался в 1889 году, когда купил ее. Хронология у него иной раз хромала. На портрете, снятом в Полтаве, — а туда он попал впервые только в 1891 году весной, ему больше восемнадцати лет, — он в крахмальном воротничке, лицо тонкое, красивое, глаза печальные, высокий большой лоб с зачесанными назад волосами, и он старше, чем на портрете в бурке, где он очень красив и юн, — усы на портрете, снятом в Полтаве, настоящие, есть и пух под подбородком.

Художник Пархоменко, живший в ту пору в Орле, рассказывал мне при знакомстве, что у Ивана Алексеевича были очень красивые густые волосы, и что ему хотелось его писать. Не помню, сделал ли он с него портрет. Иван Алексеевич терпеть не мог позировать, отказывал даже и знаменитым художникам.

3

Путь в Полтаву вместе с *нею* был одним из самых счастливых в его жизни, — ведь он еще верил в будущее, радовался, что та, которую он любит, решила делить с ним жизнь, — прекратилась, как ему казалось, его вечная мука.

Радовало то, что они будут жить в гоголевских местах, которые весною очаровали его на всю жизнь.

Радовало, что теперь он поселится вместе с Юлием, — по нём он всегда тосковал в Орле, — ему недоставало их бесед да и крепко он любил его.

Юлий Алексеевич снял квартиру, место называлось Новое Строение, дом Волошиновой, снял без мебели и по своей беспомощности не мог один обставить ее даже самым необходимым. Первые ночи пришлось спать на полу.

В Полтаве началась его первая семейная жизнь. Все друзья и знакомые отнеслись к ним, как к мужу и жене, — в их среде к законному браку относились без пиетета.

Но почему они все-таки не повенчались тайно? Она не пожелала итти против воли отца? Это, конечно, объяснение слабое. Тем более, что мать, вдогонку им, послала ей очень грубую по содержанию открытку.

Юлий Алексеевич был счастлив, что его младший брат перебрался к нему.

Конец 1891 года, несмотря на голод в России, который всех

пленен этими артистами, оценившими, в свою очередь, его живость и одаренность.

Иногда статистик Зверев брал с собой молодого писателя, когда объезжал села и деревни для опросов, и это было большим наслаждением для него. Со Зверевым всегда бывало весело, Бунин любил его заразительный смех. Мог он и сравнивать тамошних мужиков с нашими великороссами, его восхищала их чистота, спорость в работе, домовитость и большая независимость. Восхищала и природа. Познакомился он и с местной интеллигенцией, среди которой были и увлеченные украинским движением.

Возвращался он всегда очень освеженным, и после каждой поездки появлялся рассказ или стихи.

Новый 1893 год встретили в большой компании, у богатого помещика, побывавшего в ссылке, очень милого, скромного человека, щедедушного, маленького роста. Произносились речи и спичи, которые называли «речками» и «спичками». Было оживленно, ужин был новогодний, много ели, лилось шампанское, велись жаркие споры. Младший Бунин воздерживался от всего — боясь своего наставника Тенерома.

Жизнь текла по-прежнему, только он всё больше увлекался толстовством, часто ходил к своему учителю и уже наловчился набивать обручи на бочку.

В мае он получил длительный отпуск, — делать ему, как библиотекарю, летом было нечего, и он отправился к Евгению в Огнёвку. Варвара Владимировна должна была приехать туда позже в июле, когда получит отпуск. Настасья Карловна пригласила и её погостить.

Бабы в Тульской губернии одевались иначе, чем в Орловской: носили панёвы, вышитые рубахи, а на голове рога, сделанные из кос и покрытые платком, завязанным на затылке.

Новые помещики Бунины очень редко бывали в Озёрках, к огорчению родителей и Маши, к возмущению братьев, но они оправдывались, что у них так много работы, что отлучаться им из имения невозможно.

Строго говоря, судить Евгения Алексеевича не следует, хотя его осуждали всегда и за скупость и за то, что он погубил свой недюжинный талант художника-портретиста. Но, если вдуматься в его жизнь, многое можно объяснить и понять. Образования у него не было, юность он провел в деревне; от природы он был одарен образным мышлением, наблюдательностью, имел здравый смысл. Пока был молод, он, по-бунински, оставался беспечен, но с годами, присмотревшись к хозяйству, понял, что отца не переделаешь, что в будущем грозит полное разорение. Ему было 26 лет, когда он решил жениться. Выбрал, как известно, он девушку работающую, не из дворянского гнезда, знал, что ему нужна «поддужная», которая помогла бы выйти в люди. Он любил повторять: «рубь дерево по себе». В своем выборе он не ошибся, но была одна беда: Настасья Карловна не могла иметь детей. А ему хотелось иметь наследников. В первые годы их жизни, он, впрочем, даже и об этом не думал. Дума была одна: стать помещиком! Года через два после свадьбы они завели лавку, а через семь лет приобрели именье.

В эту же пору завязалась у него переписка с поэтом Жемчужниковым, который, оценив его стихи, помог устроить их в «Вестнике Европы», где редактором был М. А. Стасюлевич.

За 1893 год было написано шесть стихотворений. Сильно страдая за мать, чувствуя, как ей тяжело жить не у себя, чтобы хоть немного порадовать ее, он написал стихи «Мать» и послал ей. Привожу их целиком:

*И дни, и ночи до утра
В степи бураны бушевали
И вешки снегом заметали
И заносили хутора.
Они врывались в мертвый дом —
И стекла в рамах дребезжали,
И снег сухой в старинном зале
Кружился в сумраке ночном.*

*Но был огонь — не угасая,
Светил в пристройке по ночам
И мать всю ночь ходила там,
Глаз до рассвета не смыкая,
Она мерцавшую свечу
Старинной книгой заслонила
И, положив дитя к плечу,
Все напевала и ходила...*

*И ночь тянулась без конца...
Порой дремотой обвевая,
Шумела тише вьюга злая,
Шуршала снегом у крыльца,
Когда ж буран в порыве диком
Внезапным шквалом налетал,
Казалось ей, что дом дрожал,
Что кто-то слабым дальним криком
В степи на помощь призывал.
И до утра не раз слезами
Ее усталый взор блестел,
И мальчик вздрагивал, глядел
Большими темными глазами...*

Из рассказов, написанных в то время, свет увидели только два: «Вести с родины», в нем был выведен крестьянин, друг детства, отрочества и ранней юности автора, умерший во время всероссийского голода. В другом же рассказе, «На чужой стороне», показаны темнота и безвыходность положения мужиков, идущих на заработки из своих голодных мест.

Писанию мешало его увлечение толстовством. Он надеялся этим способом войти в сношение с Львом Николаевичем, который все больше и больше занимал его сердце, все больше он восхищался его несравненным творчеством.

В конце декабря толстовец Волкенштейн, собравшись в Москву, предложил младшему Бунину поехать с ним, обещая познакомить

его с Толстым. Я не буду излагать их медленное путешествие с заездами к братьям в Харьковскую губернию, всё это желающие могут найти в «Освобождении Толстого» Бунина.

Скажу только, что когда, в 1906 году, в начале нашего знакомства, Иван Алексеевич рассказывал мне о своем посещении Толстого, то волновался так, как будто это свидание было несколько дней тому назад. О ночи после Хамовников он вспоминал: «Это было не то сон, не то бред; я вскакивал, мне казалось, что я с ним говорю...»

А ведь прошло после первого свидания с Львом Николаевичем тринадцать лет!

1894 год застал его на пути в Москву. И ему здорово влетело от Волкенштейна за то, что он поздравил его «с Новым Годом!»

— Все дни одинаковы, — мрачно ответил он, — что значит новый год?

Вернувшись домой, Иван Алексеевич сразу свалился от инфлюэнцы и проболел долго.

Тяжело подействовала на него смерть толстовца Дрожжина, сельского учителя, отбывавшего наказание в дисциплинарном батальоне за отказ от военной службы в 1892 году.

Феерман-Тенеромо обсуждал с толстовцами, как устроить ремесленную школу. Леонтьев предложил Ивану Алексеевичу взять на себя распространение изданий «Посредника», на что он с радостью согласился и написал об этом П. И. Бирюкову.

Варвара Владимировна стала серьезно опасаться, что Иван Алексеевич слишком увлекается толстовством. Она, боец по природе, обладала даром речи, — в Московском женском клубе ее называли «наш Гегечкори». Она умела хорошо работать в канцелярии, была спорщицей, не любила хозяйства, являлась типичной представительницей «третьего элемента» и по своему языку и по образу мыслей. Как же она могла сочувствовать человеку, который из всех учений того времени избрал толстовство! Иван Алексеевич уже поговаривал о том, что хорошо бы сесть на землю, а это по толстовскому учению значит полный отказ от всякого наемного труда — всю работу нужно делать самим. Она же видела, как тяжела жизнь толстовок под Полтавой...

Весной Иван Алексеевич отправился опять один странствовать то в поезде, то пешком, то на пароходе «Аркадий», на котором он тогда поднялся вверх по Днепру.

19 мая он ходил пешком в дачное место под Полтавой, Павленки. Он впоследствии не мог припомнить, у кого был в гостях, но хорошо помнил, что попал под дождь и вернулся домой весь мокрый. Очень опять испугался, что заболет.

В конце зимы Иван Алексеевич открыл «Книжный магазин Бунина», но покупателей почти не было. Он решил раздавать книжки «Посредника» управским сторожам, но вскоре обнаружилось, что эти книжки они употребляют на сигарки. Тогда он стал ходить по ярмаркам и базарам, продавая вразнос. Однажды, в Кобеляках, он был задержан урядником «для составления протокола за торговлю без законного на то разрешения». Возникло судебное дело, и судья приговорил его к трем месяцам тюрьмы, но Иван Алексеевич был амнистирован по случаю восшествия на престол Николая II.

Получив отпуск, Варвара Владимировна уехала в Елец, — она после письма отца помирилась с родителями. Вот в это-то время она, конечно, и сговорила с Бибиковым. Иван Алексеевич чувствовал по письмам, что она обманывает его, ловил её во лжи, но ему и в голову не приходило, что она затевает. Он в своих письмах умолял её о искренности и, не понимая ее поведения, очень мучился, чувствуя «как от него отходит радость жизни», «пропадает его неисчерпаемая веселость». Выезжал он навстречу ей в Харьков, но напрасно...

Статистик Зверев пригласил его поехать с ним на переселенческий пункт, откуда чуть ли не все село отправлялось в Уссурийский край.

Он под свежим впечатлением, что с ним бывало редко, написал рассказ: обычно деревенские рассказы он писал в Полтаве, а украинские в деревне, но тут он сделал исключение. Однако он рассказ никуда не послал. Озаглавил его «На край света».

«15 авг. 94, Павленки.

Солнечный ветреный день. Сидел в саду художника Мясоедова (наш сосед, пишет меня) в аллее тополей на скамейке. Безоблачное небо широко и свежо, открыто. Иногда ветер упал, свет и тени лежали спокойно, на поляне сильно пригревало, в шелковистой траве замирали на солнце белые бабочки, стрекозы с стеклянными крыльями плавали в воздухе, твердые листья сверкали в чаще лаковым блеском. Потом начинался шелковистый шелест тополей, с другой стороны, по вершинам сада, приближался глухой шум, разрастался, все охватывал — и свет и тени бежали, сад весь волновался... И снова упал ветер, замирал и снова пригревало».

Бунины переменили квартиру, переселились на Монастырскую улицу.

Вернулась домой и Варвара Владимировна.

Она не знала, как ей быть? Боялась Ивана Алексеевича, знала, какой он бывает в гневе, ревности, когда его глаза, по определению Маши, становятся «нулями». Действительно, в подобные минуты он напоминал мне Сальвини в роли Отелло, так сверкали белки его глаз. И она терялась, как уехать из дому, избежав скандала? Прошел в этих колебаниях сентябрь, прошел и октябрь, а она всё не находила подходящего случая.

Помогло внешнее событие. В Ливадии заболел Александр III. Все с волнением следили за ходом его болезни. Сколько было разговоров, обсуждений, споров. Варвара Владимировна во всем этом принимала горячее участие.

«20 октября ст. стилия в 2 ч. 45 минут смерть Александра III в Ливадии». — записал Иван Алексеевич. — «Привезли в ПТБ 1 ноября, стоял в Петропавловском соборе до 7 ноября (до похорон).»

После смерти Александра III возникли упования на ослабление режима.

6

4 ноября была назначена присяга повому императору.

Все мужчины отправились в собор и в приходские храмы.

Варвара Владимировна, отпустив со двора прислугу, оставила странную записку: «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом...» и,

захватив кое-что из своих вещей, бежала из Полтавы, а чтобы замести следы, заняла у друга-идеалиста денег на проезд в Петербург, объяснив ему, будто бы она хочет поступить на курсы, а Ваня не соглашается...»

По возвращении домой братья увидели беспорядок в спальне и нашли записку...

Есть запись Ивана Алексеевича: «Вскоре приехал Евгений. С ним и Юлием в Огнёвку».

Иван Алексеевич на службу больше не ходил. Юлий Алексеевич, беспокоился, когда он оставался один дома. Решил выписать Евгения, чтобы тот увёз младшего брата к себе. Но и Евгений один не решился ехать с ним. Тогда друзья, посоветовавшись, устроили Юлию Алексеевичу отпуск, и в декабре братья двинулись в путь, не оставляя младшего ни на минуту одного.

Он настойчиво требовал, чтобы они остановились в Ельце. Старшие братья долго отговаривали его, но в конце концов уступили, и ему пришлось еще раз пережить на крыльце дома Пащенко тяжкую минуту. Отворил ему дверь сын доктора и, волнуясь, резко сказал, что «адреса сестры они не знают, а родители не желают его принимать...»

Из Ельца братья поехали на Бабарыкино, в Огнёвку, где уже собралась вся семья Буниных.

Легче всего было Ивану Алексеевичу с отцом, который без всяких слов умел его успокаивать, иногда брал гитару и тихонько напевал приятным голосом старинные русские песни. Только раз он сказал ему: «Помни, нет больше беды, чем печаль...» И в последние месяцы перед своей кончиной Иван Алексеевич очень мучился о последних годах жизни отца. Он представлял, в каких условиях он жил и в каких условиях застала его смерть среди снегов, без медицинской помощи, а болел он тем же недугом, каким и Иван Алексеевич. Вспоминал же он всегда его с несказанной любовью, восхищался его образным языком, считал, что он унаследовал от него свой художественный талант, повторял часто его слова: «Всё в жизни проходит и не стоит слёз...»

Мать, конечно, страдала за сына и много молилась. Один Евгений едва сдерживал свою радость, что эта «история кончилась». Юлий уговаривал младшего брата поехать в Петербург: «Необходимо тебе завести личные сношения с редакторами, ты уже печатаешься в толстых журналах, а с тобой никто не знаком...» Советовал на обратном пути побывать и в Москве, познакомиться с редакторами «Русской Мысли» и «Русских Ведомостей». «У тебя ведь есть, — говорил он, — новый рассказ, написанный летом, «Тарантелла» («Учитель»), и его следует устроить получше...»

Особенно уговаривать и не было нужды: Иван Алексеевич сам рвался из деревни. Несмотря на горе, он в это время с особенной зоркостью и остротой ко всему присматривался, — всё его ранило с особой силой — и нищета деревни, и некультурность помещичьих домов, и какая-то отрешенность деревни от всероссийской жизни.

Удерживала его в деревне надежда, что он узнает о ней. И он оставался в Огнёвке до конца декабря, когда от неё пришло письмо, поразжающее сухостью, какой-то неженской логичностью — точно она ушла из какого-нибудь учреждения, а не от близкого человека.

тонкое лицо, усы и бородка клинышком. Впереди сидят «Варварка» и Иван Алексеевич. Она с прошлого года похудела, лицо стало тоньше и в глазах через пенсне чувствуется тревога. На ней шелковая длинная черная юбка с рюшем на подоле и светлая баска. На этой карточке она красивее, чем в русском костюме. Иван Алексеевич одет так же, как и на предыдущей фотографии, так же причесан, но лицо более возмужалое. Сидят они рядом, но как-то отдельно.

Варвара Владимировна недооценивала дарования Бунина и переоценивала одаренность Бибикова. Кроме того, тот был покладистым, ему был всего 21 год, и она чувствовала над ним свою власть, авторитет.

7

К Арсению Николаевичу Бибикову у Ивана Алексеевича не было не только злобы, но и дурного чувства.

Когда Бибиковы в 1909 году стали зимовать в Москве, то Иван Алексеевич встретился с ним дружески, несмотря на то, что вскоре после брака Бибиков написал такое письмо Ивану Алексеевичу, которое сам назвал «грубым и пошлым» и в котором сам искренне раскаивался, прося в следующем письме «забыть то, что можно забыть.» Там же он писал: «Я протягиваю руку первый»...

Была у нас в гостях и Варвара Владимировна, но у Ивана Алексеевича с ней установились лишь внешние отношения.

С семьей Бибиковых дружил племянник Буниных, Николай Алексеевич Пушешников. У Бибиковых родилась дочь, Милица, она оказалась очень одаренной в музыкальном отношении, поступила по классу рояля в консерваторию.

В Москве сначала они поселились на Арбате в меблированных комнатах «Столица», потом сняли квартиру на Никитской улице (теперь улица Герцена) и назвали ее «Никитской волостью». Жизнь у них была ключом, всегда была толчея. Девочка в возрасте тринадцати лет заболела туберкулезом и была отправлена в снега Давоса. Во время войны из санатории написали, чтобы родители взяли больную. Отец с большими трудностями добрался до Швейцарии. Нашел Милку в плохом состоянии, повез домой. Дорогой она скончалась, кажется, в Стокгольме. Он заказал большую фотографию дочери на смертном одре в церкви. В «Безумном художнике» эта фотография в измененном виде описана.

В 1909 году 1 ноября, когда Бибиковы обедали у нас, перед тем, как мы должны были встать из-за стола и перейти в гостиную пить кофе, горничная подала мне телеграмму. Я немного встревожилась, не из Ефремова ли, где жила мать Ивана Алексеевича.

Я распечатала: «Сердечный привет от товарищей по разряду. Котляревский.»

Для нас это была неожиданность: мы не знали, что в этот именно день выборы почетных академиков. По Москве ходили слухи, — как мне передавал через два дня Александр Андреевич Карзинкин, — что академиком изберут Брюсова...

Я взглянула на Бибикову, уже вставшую из-за стола. Она была бледна, но спокойна. Через минуту она раздельно сказала: «Поздравляю вас».

белых замшевых перчатках, танцевал, влюбляясь то в одну, то в другую гимназистку. На балу директор, которому он иногда дерзил, отнесся к нему как к «знаменитости»: «Вы — честь нашей гимназии», учителя жали ему руку, а гимназисты таращили глаза: «настоящий писатель!» — барышни млели, и он, много лет не танцовавший, неожиданно для себя стал носиться то в польке, то в вальсе, то в «grand rond», ухаживая за дамами.

На следующий день он был в Огнёвке. Вся семья сияла, слушая его рассказы. А рассказывал он чудесно, представляя всех в лицах.

Пробыл в деревне месяца два. Писал стихи. Охотился. Ездил в Ефремов с Машей к Отто Карловичу, которого любил, как и всю его семью.

3

Из Огнёвки поехал в Полтаву, прожил там у Юлия до конца мая, когда его опять потянуло вдаль. Он уехал с какой-то М. В. в Кременчуг, где их пути разошлись. Переночевав в гостинице «Варшава», она направилась в Киев, а он на другой день по приезде сел на пароход, идущий в Екатеринослав. Есть краткая запись: «Ветрено. У песчаного островка видел утопленника. Вечером показались заводы.»

31 мая он поплыл из Екатеринослава через «Пороги» по Днепру. Его запись: «Днепровские пороги, по которым я прошел на плоту с лоцманами летом 1896 года.

31 мая Екатеринослав. Потемкинский сад, где провел с час, потом за город, где под Екатеринославом на пологом берегу Днепра Лоцманская Каменка. В верстах в пяти ниже — курганы: Близины, Сторожевой и Галагана — этот насыпан, по преданию, разбойником Галаганом, убившим богатого пана, зарывшим его казну и затем всю жизнь насыпавшим над ней курган. Дальше Хортица, а за Хортицей — пороги: первый самый опасный — Неяситец или Ненасытец; потом тоже опасные: Деде и Волнич; за Волничем в четырех верстах, последний опасный — Будило, за Будило — Лишний; через пять верст — Вильный и наконец Явленный».

После порогов он отправился по Днепру в Александровск — в тот же вечер по железной дороге — в Бахчисарай. Денег у него было больше, чем в первое крымское путешествие.

Из Бахчисарая верхом он съездил в Чуфут-Кале, посетил монастырь под Бахчисараем и «пещерный город» в лесных горах. Пустыня, тишина, только переливчатое пение дроздов. Впечатление было сильное. Вспомнил «Бахчисарайский фонтан» Пушкина, ханские времена с их любовными драмами.

Через Севастополь отправился уже не пешком, а в дилижансе, проехал Байдары, ночевал в Кикенеизе, оттуда в Ялту, из Ялты в Гурзуф, который его манил, — там жил Пушкин.

В Гурзуфе переночевал и на другой день рано утром поднимался на Аю-Даг, где почти целый день бродил по горным тропинкам. Очень остро чувствовал одиночество. Иногда, лежа, смотря в небо, отдыхал и потом шёл, шёл. Думал о себе, как о писателе, думал и о ней. Уже знал, что она замужем. Но странно, к Бибинову он не чувствовал ни злобы, ничего дурного, во всем обвинял её. Он знал,

что Арсик с юности любил её и даже стал понимать, что они подходят друг к другу. В глубине души он чувствовал, что он с Варварой Владимировной очень разные люди. Теперь издали он видел все её недостатки и даже в некотором отношении был рад своей свободе, — она могла бы мешать ему. Но самолюбие оскорблено, оскорблена и его большая любовь, и доводы не успокаивали его, а еще больше возбуждали против неё.

Я нашла две страницы, написанные рукой Ивана Алексеевича об этом времени.

«Дальнейшие годы уже туманятся, сливаются в памяти — многие годы моих дальнейших скитаний, — постепенно ставших для меня обычным существованием, определявшиеся неопределенностью его. И всего смутнее начало этих годов — самая тёмная душевная пора всей моей жизни. Внешне эта пора была одна, внутренне другая: тогдашние портреты мои, выражение их глаз неопровержимо свидетельствуют, что был я одержим тайным безумием.

Летом я уехал в Крым. Ни одной знакомой души там не было. Помню, поздним вечером прибыл я в Гурзуф, долго сидел на балконе гостиницы: темнело, воздух был непривычно тепел и нежен, прямо пахло дымом татарских очагов, тлеющего кизяка; горы мягкими стенами, просверленными у подножий красноватыми огнями, как будто ближе обступили тесную долину Гурзуфа с его садами и дачами. На другой день я ушел на Аю-Даг. Без конца шёл по его лесистым склонам всё вверх, достиг почти до его вершины и среди колючих кустов лег в корявом низкорослом лесу на обрыве над морем. Было предвечернее время; спокойное, задумчивое море сиреневой равниной лежало внизу, с трех сторон обнимая горизонт, муаром струясь в отвесной бездне подо мною, возле бирюзовых скал Аю-Дага. Кругом, в тишине, в вечном молчании горной лесной пустыни беззаботными переливами, мирно грустными, сладкими, чуждыми всему нашему, человеческому миру, пели черные дрозды, — в божественном молчании южного предвечернего часа, среди медового запаха цветущего жёлтого дрока и девственной свежести морского воздуха. Я лежал, опершись на локоть, слушая дроздов и цепенел в неразрешающемся чувстве той несказанной загадочности прелести мира и жизни, о которой немолчно говорило в тишине пение дроздов. Потом...»

Остался портрет, снятый в Полтаве в 1895 году. Мне он нравится больше всех его портретов. Он, как называли их в России, кабинетный. За два года Иван Алексеевич сильно изменился: стал носить пышные усы, бородку. Крахмальные высокие с загнутыми углами воротнички, темный галстук бабочкой, темный двубортный пиджак. На этом портрете у него прекрасное лицо, поражают глаза своей глубиной и в то же время прозрачностью.

«Вторая ночь в Гурзуфе — Пушкин, Раевский...»

Из Гурзуфа в Ялту. Там он познакомился с морским писателем Станюковичем и Мировым (Миролюбовым). Огромным человеком, с большим голосом *basso profundo*; он был принят в московский Большой театр, но из-за застенчивости не мог петь на сцене и позднее занялся редакторством. Вёл «Журнал для всех», умел выпрашивать хорошие рассказы у знаменитых писателей, например, у Чехова «Архиерея». Говорил с литераторами только с глазу-на-глаз.

9 июня Иван Алексеевич отправляется к Федорову, который настойчиво приглашал его к себе погостить.

И вот он в Одессе. Город сразу его восхитил. Федоровы жили за Большим Фонтаном на даче. Жена Федорова, Лидия Карловна (старше мужа года на три, в прошлом актриса), женщина с тонкими губами, оборотистая, умевшая работать и держать дом, полная противоположность своему легкомысленному мужу. Она помогала ему при писании: он, расхаживая по комнате, диктовал ей свои длинные романы, рассказы, очерки, драмы и стихи, и она сначала писала пером, а потом выстукивала на машинке его произведения. Писателем он был плодовитым.

У Федоровых Иван Алексеевич провел три дня и уже 14 июня направился в Каховку. Оттуда по Днепру до Никополя; вероятно, тогда и записал псалму слепого кобзаря. Любовался плавнями — песчаными, густо-заросшими островами, и поехал к Юлию, у которого прожил около двух месяцев.

В ночь с 15 на 16 сентября отправился из Екатеринослава в Одессу, и опять к Федорову, у него пробыл неделю, 26 сентября сел на пароход, идущий в Николаев, и вернулся в Полтаву.

В Полтаве, в тишине, когда Юлий Алексеевич уходил на службу, он писал стихи. Нет ни одного рассказа, помеченного 1896 годом.

4

Книга «На край света» должна была выйти в издании О. Н. Поповой в декабре 1896 года. Он едет в Петербург и попадает на именины Николая Константиновича Михайловского.

Эти именины бывали всегда многолюдны, обильны по угощению. Приезжал поздравлять, как говорили, «весь литературный Петербург».

Бывала и молодежь и, конечно, Ивану Алексеевичу было очень весело и с Мусей, и с Людмилочкой, и с Соней Кульчицкой, закадычной подружкой Лёди Елпатьевской. Они все были на редкость остроумные и живые девушки, умели подмечать смешное, что их очень связывало с молодым Буниным.

Молодому Бунину хотелось познакомиться с Короленко, и он просил приятеля Михеева устроить это знакомство. Вскоре Михеев передал ему слова Владимира Галактионовича: «Я знаю Бунина, очень интересуюсь его талантом и рад познакомиться».

Встретились они 7 декабря 1896 года на юбилее морского писателя Станюковича в ресторане «Медведь», где среди дам, литераторов, артистов и адвокатов выделялись своими мундирами адмиралы. Чествующих было больше полутораста.

На этом же юбилее Бунин познакомился и с Анненским, одним из редакторов «Русского Богатства».

Не знаю наверное, когда он попал впервые на именины Мамина-Сибиряка, который жил в Царском Селе. Иван Алексеевич поехал раньше, чтобы хоть поверхностно осмотреть пушкинский городок, который его очаровал, и он с хорошим аппетитом сел за именинный пирог. Бунин любил Мамина за его ум, за остроумие. Например, о Волынском за его открытие «новой мозговой линии», Мамин заметил: «Что с него взять? Это, мне кажется, именно про него говорит одна

купчиха у Лейкина: «Миазма млекопитающая...» А про всю редакцию «Северного Вестника» он продекламировал:

*Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей...*

Чаще всего Иван Алексеевич проводил время у издательницы «Мира Божьего» А. А. Давыдовой, где он особенно сблизился с молодежью. В этом доме бывали почти все писатели, особенно часто Мамин-Сибиряк, постоянным гостем был Н. К. Михайловский, друживший с хозяйкой дома, умной красавицей; бывала и переводчица Пименова, высокая и полная дама. Заглядывали и марксисты, так как зять Давыдовой, Туган-Барановский, был женат на её старшей дочери.

Привожу выдержку из письма Людмилы Сергеевны баронессы Врангель, дочери писателя Елпатьевского:

«...Иван Алексеевич был еще не женат, когда бывал на наших вечеринках у Александры Аркадьевны Давыдовой. В её большой гостиной висел портрет — во весь рост — её покойного мужа К. Давыдова — бывшего после Антона Рубинштейна директором петербургской консерватории, знаменитого виолончелиста и автора прелестных романсов.

Наша юная компания, во главе со старшей дочерью Александры Аркадьевны, Лидией Карловной Туган-Барановской, нашей покровительницей и общей любимицей, собиралась здесь часто. Это были М. И. Ростовцев и его любимая ученица, моя подруга Соня Кульчицкая, дочь Давыдовой Муся, вышедшая впоследствии замуж за А. И. Куприна, сыновья Михайловского, Гайдебурова и разные молодые люди, достававшие нам билеты в «Александринку» на Коммиссаржевскую и в «Мариинку» на Валькирию с Литвин.

Веселая насмешливая молодежь.

Иван Алексеевич сидел у окна и, опустив свою красивую голову, рассматривал свои новенькие блестящие щиблеты и спрашивал нас: — Не правда-ли, я похож на Гейне?

Мы смеялись с ним и тогда не знали, какое мировое имя получит Иван Алексеевич в литературе. Я тогда кончала гимназию, а Иван Алексеевич был очень молод и не женат».

И никто из этой молодой компании и не подозревал о той драме, которую он еще не изжил.

Вспоминала Людмила Сергеевна в другой раз, когда она уже была курсисткой, как она приглашала его поехать на какое-то собрание рабочих. Он, подсмеиваясь над их увлечением социализмом, сначала отказался, что её огорчило. Но, когда она на следующий вечер сидела «в ледяной конке», то увидела бегущего Ивана Алексеевича «в высокой барашковой шапке и зимнем черном пальто с барашковым воротником». Она была в восторге, думая, что и он заинтересовался рабочим движением...

Мне же кажется, что он больше интересовался «Людмилочкой», как он называет её в одной своей записи.

Познакомился и вошел в приятельские отношения с переводчиком Ф. Ф. Фидлером.

Он был из русских немцев. У него тоже в день его рождения бывал «весь литературный Петербург». Я раз попала к нему на подобное собрание; буквально с трудом можно было протолкнуться.

Он был страстным коллекционером; кроме автографов и других литературных реликвий, он брал у каждого курящего литератора папиросу. Иван Алексеевич восхищался: «Ведь это характерно — кто какую папиросу курит! Я, например, очень тонкую, а вот Мамин — толстенную, как и сигарки, у каждого разные... Вообще он прелестный человек!» — прибавлял он неизменно.

У Фидлера было большое горе: жена парализована. Когда я видела ее, паралич дошел уже почти до самой шеи. Но она была очень благобно ко всем настроена, улыбалась.

В редакции «Нового Слова» Иван Алексеевич познакомился с молодой писательницей, сестрой профессора философии Льва Михайловича Лопатина, писавшей под псевдонимом К. Ельцова. Я знала почти всю эту замечательную семью. С Екатериной Михайловной была дружна в эмиграции, познакомилась же с ней, когда мне было тринадцать лет.

Ею написаны интересные воспоминания о Соловьевых, часть их напечатана в «Современных Записках».

Она росла с детьми историка Сергея Михайловича Соловьева, была на «ты» и с знаменитым философом.

Оригинальная и не потому, что хотела оригинальничать, а потому, что иной не могла быть, она — единственная в своем роде, такой второй я не встречала.

В те годы худая, просто причесанная с вдумчивыми серо-синими большими глазами на приятном лице, она своей ныряющей походкой гуляла по Царицыну, дачному месту под Москвой, в перчатках, с тросточкой и в канотье, — дачницы обычно не носили шляп. Очень беспомощная в жизни, говорившая чудесным русским языком, она могла рассказывать или спорить часами, без конца. Хорошая наездница, в длинной синей амазонке, в мужской шляпе с вуалью, в седле она казалась на фоне царицынского леса амазонкой с картины французского художника конца девятнадцатого века. Была охотницей, на охоту отправлялась с легавой, большею частью с золотистым сеттером.

Ей было в ту пору за тридцать, она на пять лет старше Ивана Алексеевича. Я понимаю, что он остановил на ней свое внимание. Между ними завязалась дружба. Она пригласила его бывать у них в Москве. Они жили в собственном старинном особняке, на углу Гагаринского переулка.

Из Петербурга Иван Алексеевич направился в Елец, там он опять попал на бал. На следующий день, полный новых впечатлений, едет в Огнёвку, куда вносит своими рассказами оживление и смех. Прожил в семье до 11 марта. Писал рассказ «Без роду-племени», чуть касаясь пережитой драмы. Писал и стихи: за 1897 год появилось шесть стихотворений.

5

В марте Иван Алексеевич едет в Полтаву.

Осталась запись:

«Еду из Огнёвки в Полтаву. Около 11 часов утра. Только что выехал с Бабарыкиной. Даль ясная, далекие на горизонте облака, как осенью — перламутро-лиловые, лесочки чернеют.

Грустно и люблю всех своих.
В Крыму на татарских домах крупная грубая черепица.»

В Полтаве живет больше месяца. С этих пор он редко где подолгу уживается.

Нашла запись, объясняющая эту непоседливость:

«Перелет птиц вызывается действием внутренней секреции: осенью недостатком гормона, весной избытком его... Возбуждение в птицах можно сравнить с периодами половой зрелости и «сезонными толчками крови» у людей...»

Совсем, как птица, был я всю жизнь!»

30 апреля он отправляется в Шишаки. Есть запись его:

«Овчарки Кочубея. Рожь качается, ястреба, зной. Яновщина, корчма. Шишаки. Яковенко не застал, поехал за ним к нему на хутор. Вечер, гроза. Его тетка, набеленная и нарумяненная, старая, хрипит и кокетничает. Докторша «хочет невозможного».

Миргород, там ночевал.»

Вернувшись в Полтаву, он пробыл там до 24 мая.

Из Люстдорфа, от Федорова, он получил приглашение опять погостить. Люстдорф — немецкое село за Большим Фонтаном, дачное место, не очень дорогое. Иван Алексеевич решает принять приглашение и составляет план: Кременчуг — Николаев, оттуда морем в Одессу.

Его записи:

«Кременчуг, мост, солнце, желто-мутный Днепр.

За Кременчугом среди пустых гор, покрытых хлебами, думал о Святополке Окаянном.

Ночью равнины, мокрые после дождя пшеницы, черная грязь дороги.

Николаев, Буг. Ветрено и прохладно. Низкие глиняные берега, Буг пустынен. Устье, синяя туча, громадой подымающаяся над синей сталью моря. Из-под боков парохода развалы воды... бегут сквозь решетку палубы...

Впереди море, строй парусов.

Выход из устья реки в море: речная мутная, жидкая вода сменяется чистой, зеленой, тяжелой и упругой морской... Другой ветер, другой воздух, радость этого ветра, простора, воздуха, счастье жизни, молодости... Яркая зелень волн, белизна чаек, запахи паровой кухни... Уже слегка подымает и опускает, — это было тоже всегда радостью, — и от этого особенно крепко и ловко шагаешь по выпуклой, недавно вымытой гладкой палубе и глядишь с мужской жадностью, как на баке кто-то стоит, придерживает одной рукой шляпку с развевающейся от ветра дымчатой вуалью, а другой обвивающие ее по ногам полы легкого пальто.

Пароходный лакей, похожий на Нитше, густо усатый, рыжий.

Штиль. Пароход мерно гонит раскаты волн и шипящую пену.

Там внизу, где работают стальные пароходные машины всё шипит, всё в горячем масле, на котором свертываются крупные капли пара. Пахнет им и горячим металлом.

Неподвижные, крупные металлические белые электрические высоко висящие огни поздней ночью, в пустом и тихом порту. Тени пакгаузов. Крысы.

Мачты барок в порту качались мерно, дремотно, будто сожалел о чем-то!»

«29 мая.

Люстдорф. Рассвет, прохладный ветер, волнуется сиреневое море. Блеск взошедшего солнца начался от берега.

Днем проводил Федорова в Одессу, сидел на скалах возле прибоа. Море кажется выше берега, на котором сидишь. Шел берегом — в прибое лежала женщина.

Вечером ходил в степь, в хлеба. Оттуда смотрел на синюю пустыньность моря».

К соседям Федоровых, Карашевым приехал их друг, молодой писатель Куприн.

Утром Иван Алексеевич вместе с Федоровым пошли купаться.

Из воды вылез человек, неуклюжий, лохматый, с острыми глазами, Федоров сказал:

— Это Куприн.

И познакомил Бунина с ним.

Иван Алексеевич внимательно взглянул на него.

Куприн сразу ему понравился той редкой художественной одаренностью, которой они обладали оба, что встречается не так часто даже среди писателей.

Они вместе купались, вели разговоры, которые они потом всю жизнь вели только друг с другом — какое-то смакование художественных подробностей. Быстро стали называть друг друга то Гастоном, то Альбертом, то Васей, то Петей, то Карпом... Бунина восхитило в Куприне нечто звериное; это «звериное» отличало Куприна: у него было нечеловеческое обоняние, он сразу по запаху мог определить, кто что курил или пил...

В то время на вид Куприну было лет за тридцать, хотя он был ровесником Бунина. Глазки узкие, очень зоркие на татарском лице, — мать его была татарская княжна. Я однажды навестила её, по просьбе Александра Ивановича, во Вдовьем Доме в Москве, когда она была больна, и сразу поняла, что весь купринский талант от неё: такая-же образность и отрывистость речи, также «по-купрински» щурила глаза.

Это было самое приятное лето последних годов. Иван Алексеевич уже успокоился от пережитого, наслаждаясь приморским зноем, который с этих пор он очень полюбил, молодостью и новой дружбой с человеком, художественно чувствующим всё, как он сам... Они с Александром Ивановичем много бродили по обрывам над спокойным летним морем. Иван Алексеевич читал его рассказ в «Русском Богатстве» и оценил его, и он стал уговаривать Куприна писать, а тот был в подавленном состоянии, и ему казалось, что «он не знает о чем писать: нет темы». Бунин стал расспрашивать о солдатах, дал тему о новобранце, который, стоя на часах, вспоминает деревню и сильно тоскует. Куприн жаловался, что он деревни не знает, Бунин поделился подробностями, и таким образом появился прекрасный купринский

рассказ «Ночная смена». Он был послан в «Мир Божий», и Давыдова скоро напечатала его в своем журнале.

После этого Куприн написал еще рассказ. Ему нужны были деньги, так как и обувь совсем поистрепалась от частых прогулок по обрывам. Бунин уговорил его поехать в Одессу и отвезти рассказ в «Одесские Новости». Около редакции Куприн оробел, ни за что не соглашался лично предложить свой рассказ, боясь отказа. Никакие уговоры не действовали. Тогда Бунин, со свойственной ему быстротой, когда он хотел кому-нибудь помочь, выхватил рассказ у автора, вбежал в редакцию и «схватил» 25 рублей авансу, по тем временам сумму значительную. Куприн глазам не верил. Тотчас отправились в магазин обуви, были куплены щиблеты, а оттуда на извозчике закатились в «Аркадию», где Александр Иванович угостил своего друга «жареной скумбрией и белым бессарабским вином».

Болезненно самолюбивый Куприн часто во хмелю кричал: «Никогда не прощу тебе! Как ты смел мне благодетельствовать, обувать меня, нищего, босого...»

В трезвом же состоянии он рассказывал мне об этом с благодарным чувством и без всякого раздражения. Говорил еще:

— Мы ведь все его обкрадываем, он не замечает, как щедро сыплет в своих разговорах всякие драгоценные подробности...

Куприн очень сложный человек, но о нем я буду писать позднее, когда коснусь наших встреч.

Вероятно, у Федоровых они познакомились с одесскими художниками, очень сплоченными, веселыми, полными жизни, талантливыми молодыми людьми. С некоторыми у Бунина на всю жизнь создались близкие, дружеские, почти братские отношения. Но этим летом он видел их мельком.

От Федоровых он направился в Полтаву. Юлий вернулся из своего отпуска. Они прожили некоторое время вместе. Юлий уже твердо решил переехать в Москву и заканчивал свои дела в статистическом отделении, а Иван писал стихи, делал заметки, много читал, иногда ездил с Зверевым на опросы.

6

Из Полтавы он поехал в Огнёвку. Мать он нашел в плохом состоянии, — у нее началась астма. Получила она этот недуг после того, как сидела на полу, натирая мазью ноги и руки Маши, у которой был суставной ревматизм.

Решили показать Людмилу Александровну профессору Захарьину. Повезли её в Москву Настасья Карловна и младший сын. Остановились в гостинице Фальцфейна на Тверской. Профессор Захарьин прописал только папиросы Эспик и посоветовал жечь при сильных припадках селитряную бумагу. Но это было не радикальное лечение. Астма не оставляла её до конца жизни. И была она настолько сильная, что Людмила Александровна (несколько лет спустя после визита к знаменитому профессору) не могла спать лежа — и ночи проводила в кресле.

Конец года Иван Алексеевич жил в Москве, куда уже переехал старший брат, ставший соредактором педагогического журнала

«Вестник Воспитания». Издавал его врач Николай Федорович Михайлов, богатый человек, из семьи фабрикантов текстильщиков.

У братьев Буниных с этого года завязались дружеские отношения с ядром будущей «Среды»: Телешовым, Белоусовым и Махаловым, познакомились они и с Гославским, и с Голоушевым, и с Златовратским, прожившим всю жизнь в Гиршах, — были тогда в Москве, на Бронной, корпуса с дешевыми квартирами, — выезжавшим летом на дачу в Апрелевку, под Москвой. И так за всю жизнь Златовратскому не удалось увидеть моря, хотя он и мечтал об этом. Один раз он съездил к сыну во Владикавказ, но вернуться на черноморское побережье, у него нехватило средств...

Самая большая дружба конца этого года и первой половины 1898 была у него с Катериной Михайловной Лопатиной. В журнале «Новое Слово» начал печататься её роман, и они вместе читали корректуру. Чтение сводилось к тому, что Бунин всё советовал сокращать и сокращать: она страдала многословием. У неё был несомненно художественный талант, только она не умела в полной мере им овладеть.

Иван Алексеевич так пишет о ней, приводя её рассказ о Толстых в своей книге «Освобождение Толстого»:

«Лопатина была женщина в некоторых отношениях замечательная, но очень пристрастная».

Они никогда не соглашались в оценке Льва Николаевича, как человека, как учителя, — она была проникнута философией Соловьева, а известно, что эти два больших мыслителя друг друга не выносили. Как художника, она с детства оценила Толстого, ставила его выше всех. Её знакомство с произведениями этого писателя началось с чтения «Севастопольских рассказов.»

«Я не могла равнодушно слышать даже это название, — будто не читаю, а совершенно вижу грязную изрытую дорогу и солдата в серой шинели, бегущего с бастиона с двумя ружьями...» — вспоминала она не раз. Толстых она знала хорошо: в молодости она вращалась с его дочерьми в одном и том же кругу; бывала она и у них в гостях в Хамовниках, в Ясной Поляне, но обаянию этой семьи она не поддавалась. Ей больше всех нравилась Татьяна Львовна, с которой она была на «ты». Близким другом ее была Вера Сергеевна, дочь Сергея Николаевича Толстого.

Иван Алексеевич посещал лопатинский особняк с колоннами, выходивший в Гагаринский переулок, а подъезд был с Хрущевского. Он имел какую-то художественную ценность, за что и помещен в журнале Крымова «Столица и усадьба».

На их журфиксах бывало общество смешанное: аристократы, иногда сам Толстой, ученые, философы, друзья брата, судейские. Её отец, Михаил Николаевич, в прошлом гегельянец, судебный деятель, поклонник судебных реформ Александра II, был человеком умным и образованным. Мать — очаровательная худая, высокая, старая барыня, с большой добротой и мягкостью, но с характером. Она воспитала детей: четверых сыновей и дочь, которая, после домашнего образования, посещала курсы Герье, открытые в начале восьмидесятих годов прошлого века. Младший сын, Владимир Михайлович, большой друг Георгия Евгеньевича Львова, бывший судейский, выйдя в отставку, стал артистом Художественного театра.

После издания книги «На край света» Бунин редко появляется в печати с прозой.

Мне кажется, что Петербург его ошеломил и хотя у него были уже определенные вкусы и художественная оценка, но всё же надо было преодолеть все эти новые «мозговые линии» Волынского, выходки Гиппиус, анархический «лай» Брюсова, предлагавшего сжечь, подобно Омару, всё написанное до него! Кроме того, чем сильнее был литературный рост Бунина, тем он более критически относился к себе. И всё труднее ему было высказываться художественно. То, о чем он пишет в «Жизни Арсеньева» — муки и страдания от невозможности писать, как хочется, «ни о чём», — зародилось именно в эти годы.

В политике тоже было шумно: выступления в Петербурге Струве, Туган-Барановского, Булгакова, Бердяева, их схватки с народниками на заседаниях в разных обществах.

Вскоре появился и Горький со своим «Челкашом», от которого большинство приходило в восторг, но Бунину он не нравился, он чувствовал всегда в горьковских произведениях фальш и никогда не восхищался им, как писателем, хотя и признавал в нем большое дарование.

Всё это мешало ему самому писать, не была устроена и его жизнь. Зарабатывал он немного, жить скромно на одном месте он не мог, — ему надо было всё видеть, всё понять, а это он мог делать только в «движеньи». Недаром он всегда напевал: «В движеньи мельник жизнь ведет, в движеньи...» Когда иссякали деньги, он ехал в Огнёвку, где жизнь ему обходилась дешево.

7

Под влиянием Толстого, писавшего о ночлежных домах, Иван Алексеевич с Катериной Михайловной, как он её всегда звал, ходили по ночлежным домам и притонам в Проточном переулке, близ Новинского бульвара.

У Катерины Михайловны в то время были очень сложные отношения с психиатром Т., который лечил её недавно скончавшегося брата, Николая Михайловича, собирателя русских песен и сослуживца моего отца. Николай Михайлович заболел душевно, что на сестру произвело сильнейшее впечатление, и она с тех пор стала интересоваться психиатрией, впоследствии сделалась настоятельницей Никольской общины, где читала сестрам лекции по уходу за душевно больными. Она оставила интересные воспоминания об этой своей деятельности. Они хранятся у меня.

Из романа с психиатром у нее ничего не вышло, так как у него была связь с француженкой, от которой он имел дочь, и он считал долгом узаконить этот союз, а затем развестись, но в то время разводы были очень сложным делом в России. И Катерина Михайловна чувствовала, что из этих проектов ничего не выйдет.

Иногда они с Иваном Алексеевичем, шутя, говорили о браке: он был на пять с половиной лет моложе её, и утешали себя тем, что у Шекспира жена была девятью годами старше мужа.

Иван Алексеевич определял свои чувства к Катерине Михайловне

романтическими, как к девушке из старинного дворянского гнезда, очень чистой, но несколько истеричной:

— Подумай, — рассказывал он, — зайдём в Прагу, а она начинает говорить; «Нет, не могу есть в ресторанах, с тарелок и пить из фужеров, из которых ели и пили другие...» Если бы я на ней женился, я или убил бы её или повесился, — смеясь говорил он, а человек она все же замечательный.

А она рассказывала:

— Бывало идем по Арбату, он в высоких ботиках, в потрепанном пальто с барашковым воротником, в высокой барашковой шапке и говорит: «Вот вы всё смеетесь, не верите, а вот увидите, я буду знаменит на весь мир!» Какой смешной, — думала я...

Вспоминала она об этом, гостя у нас на Бельведере в Грассе, после получения Иваном Алексеевичем нобелевской премии.

Поживши в Москве, он, в начале 1898 года, съездил в Огнёвку на короткий срок.

Сестра была невестой, ей шел двадцать пятый год. По-деревенским понятиям, она считалась перестаркой. Бывала только в Ефремове в семье Отто Карловича. Там она познакомилась с молодым машинистом, водившим поезда мимо Бабарыкина, довольно культурным по виду, — он был поляк, Иосиф Адамович Ласкаржевский, моложе её года на два. Братья были в ужасе, но что делать? Она была настроена романтически, писала стихи и видела его преображенным. На своей карточке, снятой в Ельце, когда она была невестой, написано: «Моему будущему другу жизни и возлюбленному мужу Иосифу Ласкаржевскому от его Марии».

А он был высокий брюнет с правильными чертами угрюмого лица, лишенный чувства какой-либо поэзии и большой хвостун. Не знаю, почему эта фотография оказалась у брата в эмиграции, вероятно, он взял её у Маши, когда она разошлась с мужем.

Ранней весной Ивана Алексеевича опять потянуло в Москву, и он поселился в «Столице» на Арбате, в двух шагах от Юлия Алексеевича. И опять зачастил к Лопатиным на журфиксы, и в будни. Они то спорили, то держали корректуру её романа, который он немилосердно уговаривал сокращать, — вот, действительно, сошлись две противоположности! — то опять ходили по ночлежным домам.

В конце апреля они съездили в дачную местность под Москвой, Царицыно, снимать дачу для Лопатиных, и Иван Алексеевич всё удивлялся, зачем им такая большая дача для четырех человек? А впоследствии сам снимал просторный дом для нас двоих.

Начало лета он провел в Царицыне, поселился в «стойлах», как мы называли комнаты с балконом в саду Дипмана, где были ресторан, летний театр и номера для одиноких дачников. Там в то время жил молодой писатель, друг Бунина, Телешов, первый писатель, с которым я познакомилась в отрочестве. Красивый, высокий, очень милый человек. Иногда при встречах в огромном вековом царицынском парке они подолгу беседовали с моей мамой на литературные темы. Он подарил ей две свои книжки небольшого формата, и меня очень занимало, что я знакома с тем, кто их «сочинил»...

Среди знакомых в Царицыне было известно, что под Ельцовой скрывается Е. М. Лопатина, некоторые посмеивались, но всё же читали её роман в толстом журнале. Она была горда, её забавляло,

что она получит за него больше тысячи рублей! И когда она об этом сообщила своей матери, та покачала головой и вполголоса заметила:

— Что-ж, мания величия!... — до того ей это показалось невероятным...

А философ, Владимир Сергеевич Соловьев, говорил:

— Ты, Катя, счастливее меня: я никогда таких гонораров за свои статьи еще не получал...

И в Царицыне она продолжала, вместе с Иваном Алексеевичем, держать корректуру. Несмотря на сокращения, роман оказался длинным. Они много гуляли, и один раз мы с мамой столкнулись с ними. Екатерина Михайловна познакомила нас. Об этой встрече я пишу в своих воспоминаниях: «Беседы с памятью».

Катерине Михайловне в эту пору было очень тяжело из-за осложнения в отношениях с психиатром Т., и она уже начала заболеть нервно, а потому и прощанье с Иваном Алексеевичем было болезненно трогательным. Он уезжал в Огнёвку, а оттуда к Федорову под Одессу.

Расставались поздно вечером, на следующий день рано утром он должен был ехать в Москву, а она вставала всегда к полудню. Был одиннадцатый час, но еще светила заря в лесу, только что прошёл дождь. Она плакала, может быть, чувствовала, что их дружбе, душевной близости приходит конец. Она была глубоко религиозна и надела на него маленькую иконку.

В Огнёвке он на этот раз зажился, увлекшись писанием. И только в конце июля уехал в Люстдорф к Федоровым. Куприн, как и в прошлое лето, гостил у Карышевых. Возобновились прогулки, смакование художественных подробностей, восхищение Толстым. Куприн особенно приходил в восторг от Фру-Фру, лошади Бронского, погибшей на скачках, от Холстомера: «Он сам был лошадю!» — повторял кто-нибудь из них. Шутили и над Федоровым, у которого недавно появился на свет сынишка Витя. От него счастливый отец всю жизнь приходил в восторг: «мой мальчик!» — восклицал он, восхищаясь необыкновенными талантами сына, с его младенчества. Однажды, провозжая на пароходе Чехова, он ему так надоел своим Витей, что Чехов жаловался Ивану Алексеевичу: «Хотелось смотреть, как работает лебедка, поднимая на пароход корову, а он все бубнил: «Мой мальчик, посмотрите, как он... и так далее...» Посмеивались и над его романами, и над его упоением самим собой: «Я сложен, как бог!...»

Однажды к Федоровым приехали в гости их друзья, греческая чета Цакни, он издатель и редактор «Южного Обозрения», в прошлом народоволец, эмигрант, жил несколько лет в Швейцарии и Париже. Потерял красавицу жену, от которой имел дочь. Через несколько лет он женился на гречанке, Элеоноре Павловне Ираклиди, учившейся пению у знаменитой Виардо, которая никогда не начинала урока, прежде чем ученица или ученик не положит на рояль луидор. Мать Э. П. Ираклиди ездила в турне со знаменитым скрипачом и композитором Венявским — в качестве аккомпаниаторши.

Цакни пригласили молодых писателей к себе на дачу. Через несколько дней они отправились к ним, на седьмую станцию.

При входе в разросшийся по-южному сад они увидели настоящую красавицу. как оказалось, дочь Цакни от первого брака.

Иван Алексеевич обомлел, остановился.

И чуть ли не в один из ближайших вечеров сделал ей предложение.

Он говорил мне: «Если к Лопатиной мое чувство было романти-
ческое, то Цакни была моим языческим увлечением...»

Предложение было принято. Отец предоставлял дочери полную свободу, мачехе же жених сначала очень понравился, и она была довольна предстоящей свадьбой, а, может быть, хотела скорее выдать замуж свою падчерицу. Все случилось скоропалительно. Анне Николаевне шел двадцатый год; но она была еще очень невзрослой, наивной, — мачеха умела заставлять ее поступать по своей воле.

В автобиографическом конспекте у Ивана Алексеевича написано:
«...Внезапно сделал вечером предложение. Вид из окон из дачи
(со второго этажа). Аня играла «В убежище сада...» Ночью у них,
спал на балконе (это, кажется, в начале сентября).

23 сентября. Свадьба».

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Свадьба была назначена на 23 сентября, венчались они в церкви на Греческом базаре; жили Цакни на Херсонской.

Незадолго перед этим они потеряли сына и упросили Ивана Алексеевича не увозить от них «Аню», а поселиться вместе с ними, — квартира у них была большая. После свадьбы молодые должны были поплыть в Балаклаву к греческим родственникам Цакни.

Иван Алексеевич к таинствам, после своего увлечения толстовством, относился совершенно равнодушно. Отец Цакни, как я уже упомянула, был неверующий народоволец. И если бы жених предложил венчаться совсем просто, только с двумя свидетелями, то Анна Николаевна, по всем вероятностям, согласилась бы, как уверяла меня Лидия Карловна Федорова, но Иван Алексеевич так был равнодушен к венчанию, что ни во что не вмешивался. Всем верховодила жена Цакни. Она, как полагается, заказала белое венчальное платье, купила фату с флёр д'оранжем и в карете привезла невесту в храм. Мальчиком с образом был младший, единокровный брат невесты, Бэба.

Жених пришел на свадьбу пешком.

После венчания, «молодой» с тестем, заговорившись, вышли на паперть и бессознательно пошли вдвоем домой. Можно представить, какое впечатление произвело это на «молодую». А тут еще подлила масла в огонь мачеха, да и Лидия Карловна Федорова, вероятно, не внесла мира.

На свадебном пиру разразился скандал. Иван Алексеевич в бешенстве выскочил из столовой в гостиную, запер за собой дверь на ключ и до утра не вышел. Мачеха до рассвета о чем-то шепталась с «Аней», а Федоровы провели ночь в спальне, приготовленной для новобрачных.

Иван Алексеевич был раздражен и расстроен, так как перед свадьбой невеста передала ему, что Федоровы утверждают, что он женится из-за денег, хотя богата была мачеха.

Зачем Федоровы отравили первый день «молодым», понять трудно. Об этой свадьбе всего подробнее рассказывала мне Л. К. Федорова. А Федоров использовал этот эпизод в своем романе «Природа».

Я спрашивала Ивана Алексеевича, как это он мог уйти после венчания без жены?

— Я не придавал никакого значения этому, к тому же мы о чем-то очень интересном разговорились с Николаем Петровичем, я и забыл, что молодожены должны возвращаться вместе...

По Фрейду этот брак не мог быть длительным. Так и случилось.

На следующий день они отправились в Крым, где провели медовый месяц. Побывали и в Балаклаве, посетили родственниц «молодой», очень толстых, неподвижных, старых гречанок, которые угощали их розовым вареньем с ледяной водой и всякими греческими сладостями.

Из Балаклавы они вернулись в Севастополь и поплыли на пароходе «Пушкин» в Ялту, остановились в гостинице возле мола. Побывали в Гурзуфе. Возвращались оттуда в Ялту на маленьком пароходике. Из Ялты пошли, уже на большом, в Одессу. Была качка.

Вернувшись в Одессу, они пожили там недолго. Бунину нужно было по своим литературным делам побывать в Москве и Петербурге, а Анне Николаевне хотелось посетить столицы. Кажется, до тех пор она не бывала на севере России.

В Москве они попали на первое представление «Царя Федора Иоанновича» в «Общедоступном Художественном театре», а затем были на юбилее Златовратского, праздновавшемся в Колонном зале «Эрмитажа». Бунин познакомил жену со всеми своими друзьями, и знакомыми; все восхищались её красотой. Народу на юбилее было множество, говорились речи, тосты, банкет затянулся, как в таких случаях шутили, «далеко за полночь».

В Петербурге оставались недолго и, вернувшись в Москву, были на первом представлении «Чайки» в том же театре «Эрмитаж», где начинал свою деятельность Художественный театр, в первые годы своего существования называвшийся «Общедоступным Художественным театром». Действительно, цены в нем были в те годы очень низкие.

На Рождестве они вернулись на Херсонскую. И началась для Ивана Алексеевича вторая семейная жизнь и дружба с одесскими художниками.

Присмотревшись к укладу жизни в доме Цакни, Иван Алексеевич стал возмущаться, — многое ему было не по душе. Элеонора Павловна, мечтавшая в юности стать оперной певицей и не ставшая ею, заполняла свою неудавшуюся артистическую жизнь тем, что ставила оперы с благотворительной целью. В том году шли у них на квартире часто репетиции «Жизни за Царя» Глинки, спектакль должен был быть в зале на Слободке Романовке. И больше всего возмущало Ивана Алексеевича, что к этому была привлечена Аня, у которой не было ни оперного голоса, ни артистических способностей. Конечно, со сцены она казалась еще красивее, чем в жизни. После брака она очень похорошела. Особенно ей шли бальные туалеты, и когда она танцевала с каким-то красавцем офицером, все восхищались этой парой... «И я видел её удовольствие, оживление, быстрое мелькание её юбки и ног; музыка больно била меня по сердцу своей бодрой звучностью, вальсами влекла к слезам. Все любовались, когда она танцевала с Турчаниновым, с тем противоестественно высоким офицером в черных долубачках, с продолговатым, матово-смуглым лицом, с неподвижными темными глазами. Она была довольно

высока, — все-таки он был на две головы выше её и, тесно обняв и плавно длительно кружа её, как-то настойчиво смотрел на неё сверху вниз, а в её поднятом к нему лице было что-то счастливое и несчастное, прекрасное и вместе с тем нечто ненавистное мне...» («Жизнь Арсеньева»).

Эта сцена перенесена из Одессы в Орёл. Да и Варвара Владимировна не была так высока и красива, чтобы ею любоваться, как можно было любоваться Анной Николаевной. Иван Алексеевич признавался мне, что ревновал жену, когда она танцевала в Одессе на балу, к какому-то красавцу офицеру и всегда при этом повторял: «Действительно, они оба были хороши...»

Повторяю: Лица в «Жизни Арсеньева», как записал Иван Алексеевич, «вся выдуманна».

Жили Цакни, как я писала, на Херсонской улице, во дворе, квартира была просторная.

Она хорошо одевалась, и Ивану Алексеевичу нравилось, когда жена опускала черную вуаль, из-под которой блестели глаза, когда они вместе куда-нибудь шли.

Стол был обильный. С этих пор Иван Алексеевич полюбил морскую рыбу, особенно кефаль по-гречески.

Цакни много выезжали, бывали на итальянской опере, артисты которой постоянно толпились в их гостеприимном доме. Элеонора Павловна принадлежала к богатой греческой семье. Бывал у них хорошенький талантливый юноша Морфесси, известный и в эмиграции исполнитель романсов.

Единокровный брат Анны Николаевны, Бэба, целыми днями носился по квартире с собакой. Это тоже перенесено в «Жизни Арсеньева» в Елец, в квартиру доктора, отца Лики.

Много шуточных стихов написано о Бэбе. Когда Павел Николаевич Цакни был у нас на вилле Жаннетт в Грассе, он читал их, но, к сожалению, вероятно, от усталости, которую я почти всегда испытывала во время последней войны, мне не пришлось в голову записать эти стихи. Иван Алексеевич многое совершенно забыл, и весело смеялся, слушая их.

2

Иван Алексеевич полюбил порт, который его всегда возбуждал, — тянуло в дальние странствования; он иногда проводил там часы. Ездил он с Анной Николаевной к морю, в ближайшую дачную местность, Ланжерон, где хороши скалы, особенно под кипящими волнами.

С этого года у него возникает дружба с одесскими художниками, которые в 1890 году образовали «Товарищество южно-русских художников»; самым чтимым из них был Костанди.

Начал он бывать на обедах Буковецкого, который, будучи состоятельным человеком, устраивал пиршества, но приглашал только мужчин. Обеды были еженедельно, по четвергам. На них бывало весело, шумно, непринужденно; стол у Буковецкого отличался тонкостью и своеобразием, — рыба подавалась до супа. Буковецкий, изысканный человек, умный, с большим вкусом, старался быть во всём изящным. Он писал портреты. Одна его вещь была приобретена Третьяковской галереей.

С первых же месяцев знакомства с этой средой Иван Алексеевич выделил Владимира Павловича Куровского, редкого человека и по душевным восприятиям и по особому пониманию жизни. Настоящего художника из него не вышло: рано женился, пошли дети, и ему пришлось взять место в городской управе. С 1899 года он стал хранителем Одесского музея и получил при нем квартиру. Музей помещался на Софиевской улице (ныне ул. Короленко), в бывшем дворце Потоцкой, трехэтажном особняке классической архитектуры начала девятнадцатого века.

Иван Алексеевич очень ценил Куровского и «несколько лет был просто влюблен в него». После его самоубийства, во время первой мировой войны, он посвятил ему свое стихотворение: «Памяти друга», где поэт объясняет, чем Куровский был ему так близок:

*Ты верил, что откликнется мгновенно
В моей душе твой бред, твоя тоска.
Как помню я усмешку, неизменно
Твои уста кривившую слегка.
Как эта скорбь и жажда — быть вселенной,
Полями, морем, небом — мне близка!
Как остро мы любили мир с тобою
Любовью неразгаданной, слепую!*

*Те радости и муки без причин.
Та сладостная боль соприкасая
Душой со всем живущим, что один,
Ты разделял со мною, — нет названья,
Нет имени для них, — и до седин
Я донесу порывы воссозданья
Своей любви, своих плененных сил...*

Выписываю эти строфы потому, что в них ярко выражается не только, что Бунин любил в одном из самых ближайших друзей, но и то, чем он сам жил.

Семья Куровских состояла из жены, двух дочерей и сына; все дети были привязаны к Ивану Алексеевичу, который их нежно любил.

Подружился он и с Петром Александровичем Нилусом, дружба длилась многие годы и перешла почти в братские отношения. Он кроме душевных качеств ценил в Нилусе его тонкий талант художника не только как поэта красок в живописи, но и как знатока природы, людей, особенно женщин, — и всё уговаривал его начать писать художественную прозу. Ценил он в нем и музыкальность. Петр Александрович мог насвистывать целые симфонии.

Сошелся и с Буковецким, ему нравился его ум, оригинальность суждений, меткость слов. С остальными вошел в приятельские отношения, со всеми был на «ты», некоторых любил; например, Заузе, очень музыкального человека (написавшего романс на его слова «Отошли закаты на далекий север»), Дворникова, которого ценил и как художника, маленького трогательного Эгиза, необыкновенно гостеприимного караима. Забавлял его и Лепетич. Познакомился и со старшими художниками: Кузнецовым, Костанди.

Жили в то время Буковецкий с Нилусом на Николаевском бульваре. Иногда Анна Николаевна провожала мужа, а затем приходила и ждала его на скамейке бульвара.

В Москве в 1899 году вышел его перевод «Песни о Гайавате» Лонгфелло. Перевод имел успех и даже был оценен Академией Наук, и Бунин впервые получил денежную премию и золотую медаль в 1903 году. Он трижды был награжден Академией Наук Пушкинскими медалями. Все три золотые медали были у нас украдены в Софии после эвакуации из Одессы в 1920 году.

Отношения его с женой стали портиться главным образом из-за её участия в опере. Элеонора Павловна начала на него сердиться, восстанавливать падчерицу против мужа. И весной он один на неделю-полторы уплыл в Ялту. В одной записи, сделанной его рукой, вопрос: «Почему один?» Вероятно, уехал из-за тяжелой атмосферы. У Анны Николаевны был характер, совершенно невыносимый для Буниных: обидевшись или рассердившись, она замолкала. А все Бунины были отходчивы и враждебного молчания не выносили.

В Ялте он возобновил знакомство с Чеховым, встретившись с ним на набережной, пил у него в аутском саду утренний кофий, — дача еще строилась. Встретился через несколько дней опять с ним на набережной, он шел вместе с Горьким, и Чехов их познакомил.

В тот день Горький с Буниным провели вместе несколько часов. Бунин зашел к нему, и он показывал карточки своей жены и сына и шелк, купленный на кофточку Екатерине Павловне.

В Ялте же он виделся с Лопатиной, которая после тяжелой зимы была отправлена врачами в Крым. Мать её, многие знакомые, в том числе и моя мама, приписывали её нервную болезнь отъезду Бунина и его женитьбе, не зная её драмы с психиатром.

Они дружески провели несколько вечеров, она сообщила, что её роман «В чужом гнезде» прошел в журнале и выходит отдельной книгой.

Встретился он в Ялте и с Мусей Давыдовой, с которой ему неизменно бывало весело. Она ехидно поздравила его с законным браком. Он нравился ей, было досадно, что он, став женатым, как-бы отделился от их компании.

Заходил он и к Елпатьевским, они тоже строили себе белую дачу где-то очень высоко — над Ялтой.

3

Летом вся семья Цакни поехала в свое имение «Затишье». Поехали туда и Бунины.

Иван Алексеевич не повез Анну Николаевну к своим родным, — понимал, что она совершенно из другой среды, и огнёвская жизнь была бы ей до жути непонятна. Душевно они никогда не были близки.

Настоящего интереса к его писаниям она не проявляла. В ней было много восточных черт и никаких «стремлений». По натуре чистая, неиспорченная, не допускающая компромиссов, она была не в состоянии понять сложную натуру мужа.

В «Затишье» и произошел первый разрыв. Всё началось из-за пустяков. К Цакни приехала погостить знакомая чета, которая не понравилась зятю, а он не умел или не хотел скрывать своего отношения к ним. Элеонора Павловна вознегодовала и каким-то способом поссорила его с женой, уверяя её, что он только и любит из всех них собачку. Ссора кончилась тем, что среди лета он уехал в Огнёвку.

Всё же осенью он вернулся. Поехал на Николаев, было «солнечное раннее утро». У супругов состоялся род примирения. Она еще нравилась ему, он на всю жизнь запомнил её серое платье, солнечное утро, когда они куда-то шли.

Репетиции «Жизни за царя» возобновились. И опять «Аня» должна была участвовать в них. И опять «двери на петлях не держались...»

Чаще он стал проводить время с художниками, бывать на четвергах у Буковецкого, ездить в Отраду к Федоровым, заходить на Софиевскую к Куровским, что ей не нравилось, но всё же крупных ссор не было. Работать же, писать по-настоящему он не мог, — в доме вечный праздник, суета, многолюдство, музыка, шум, обстановка не для писателя.

Новый Год, — когда поднимались споры, последний ли он в XIX веке или первый в XX-том, — прошел шумно и многолюдно с пением и музыкой.

В январе обнаружилась беременность Анны Николаевны. Она стала еще обидчивее, отношения супругов делались всё напряженней и напряженней. Иван Алексеевич понял, что из их жизни ничего не вышло и не выйдет хорошего и, боясь за её здоровье, с совершенно разбитыми нервами, в начале марта, после длительного, упорного молчания с ее стороны, «уложил свои вещи в чемодан, взял извозчика на вокзал и уехал в Москву».

Юлий Алексеевич испугался его вида и уговорил обратиться к знаменитому профессору по нервным болезням Роту, редкому по душе человеку.

Рот нашел его в дурном состоянии, посоветовал, если это возможно, отправиться в деревню, вести правильный образ жизни, рано ложиться, рано вставать, заниматься физическим трудом и ничего не пить.

Иван Алексеевич быстро уехал в Огнёвку, где вскоре и появился «Листопад». Он начал его раньше, но тут он окончательно его отделал. До Страстной недели прожил у Евгения.

За 1899 год стихов он написал мало: всего четыре стихотворения! И один рассказ в две страницы — «Поздней ночью». А в 1900 году, после разрыва, в Огнёвке, кроме «Листопада» — поэмы в пять с половиной страниц, были еще написаны двадцать четыре стихотворения. Из прозы 1900-ым годом помечены «Антоновские яблоки», «Эпитафия» и «Над городом».

Среди записей я нашла на листочке следующую: «Русский грек Николай Петрович Цакни, революционер, женатый на красавице еврейке (в девичестве Львовой), был сослан на крайний север и бежал оттуда на каком-то иностранном пароходе и жил нищим эмигрантом в Париже, занимаясь черным трудом, а его жена, родив ему дочь Аню, умерла от чахотки. Аня только 12-ти лет вернулась в Россию,

в Одессу с отцом, женившимся на богатой гречанке Ираклиди, учившейся пению и недоучившейся оперному искусству у знаменитой Виардо, а я, приехав в Одессу в августе 1898 году, случайно познакомился с Цакни и вскоре сделал Ане предложение. От этого брака и родился наш с нею сын Коля, лет пяти умерший после скарлатины.

«На этой фотографической карточке ему...

«Может быть вы знавали в Париже доктора психиатра Львова (высокого, красивого человека)? Это был родной дядя Ани, с которой я разошелся вскоре после её беременности только благодаря тому, что моя теща или, лучше сказать, полутеща...» Тут обрывается.

Ясно чувствуется, что причиной всего их разлада была Элеонора Павловна. Это утверждала и сама Анна Николаевна, когда она видалась с Иваном Алексеевичем уже в мое время.

Маша была замужем, переселилась в Ефремов, с нею жила и Людмила Александровна. Ласкаржевские ждали ребёнка. Иван Алексеевич ежедневно, до самых родов, писал ей письма, умоляя её быть осторожной...

4

На Страстной Иван Алексеевич едет в Ялту. В Севастополе и Ялте для Чехова Художественным театром давались пьесы («Эдда Габлер» Ибсена, «Одинокие» Гауптмана, «Чайка» и «Дядя Ваня» Чехова).

Об этом съезде актеров и писателей подробно рассказано в книге «О Чехове» Бунина и в книге «Чехов в воспоминаниях современников».

С этой весны укрепляются дружеские отношения Чехова с Буниным. Антон Павлович оценил талантливость Бунина, и по воспоминаниям Станиславского, всегда находился там, где что-нибудь рассказывает или представляет Бунин, явно предпочитая ему всяких знаменитостей. Вспоминая это, Станиславский прибавляет: «Никто, как Бунин, не умел смешить Антона Павловича, когда он бывал в хорошем настроении».

Значит, и для чужого глаза было заметно, что Ивану Алексеевичу бывало тяжело. Конечно, драма с женой его мучила. Это и ввело в заблуждение Ивана Николаевича Сахарова, решившего, что его плохое настроение вызывается присутствием знаменитостей. И он был так неделикатен, что стал советовать ему скорее уехать из Ялты...

Иван Алексеевич очень рассердился и дерзко ответил, что его литературный путь отличается от других: он будет академиком и неизвестно, кто кого обгонит... Тут сказался в нем его отец.

Из Ялты Иван Алексеевич поехал в Ефремов к матери и Ласкаржевским, на целый месяц. Приехал туда и Юлий Алексеевич, довольный своим положением в редакции журнала «Вестник Воспитания». Издатель Николай Федорович Михайлов предложил ему квартиру при редакции, полное содержание и какое-то ежемесячное вознаграждение. Юлию Алексеевичу, человеку, неприспособленному к жизни, подобные условия подошли, он был освобожден от всяких хозяйственных забот.

Летом в Огнёвке, Иван Алексеевич окончательно подготовил к печати «Листопад». Собираясь отправить свою поэму в «Новую Жизнь», редактором которой был Поссе, он предварительно написал Горькому, близкому сотруднику этого журнала.

Приехав в Москву, он передал её Алексею Максимовичу.

«В овраге» Чехова тоже появилось в «Новой Жизни».

В это время Иван Алексеевич писал «Антоновские яблоки».

Из Москвы, в октябре, Иван Алексеевич едет в Одессу, — 30-го августа 1900 г. у него родился сын; назвали его Николаем — в честь деда Цакни. Бунин останавливается не у Анны Николаевны, а живет у Куровских, у которых прекрасная квартира при городском музее.

Отношения с женой не улучшились. Ему стало несказанно тяжело. Анна Николаевна была самолюбива и замкнута по характеру, она чувствовала себя оскорбленной и, повидимому, не желала даже думать о примирении.

Есть запись Ивана Алексеевича:

«Какой-то Одиссей, какая-то Итака... Почему, зачем вошло это в мою жизнь с детства, как и многое другое — Авраам, Исаак, Дон-Кихот, Гамлет, Чацкий и т.д.? И нужно же было случиться так, что моя жена была гречанка, род которой был с Итаки!»

В октябре одесская городская управа решила послать Куровского за-границу для обследования рынков в разных городах Европы, и тот стал уговаривать своего друга ехать с ним, так как видел, что опять Бунин приходит в болезненное состояние, — и он серьезно опасался, что отношения Цакни с Иваном Алексеевичем доведут его до тяжелой нервной болезни.

Иван Алексеевич подсчитав свои средства и, где-то взяв аванс, с радостью согласился, — ему было приятно отправиться в свое первое заграничное путешествие с таким тонким человеком, как Куровский.

Они «выработали маршрут», как говорилось в семье у Буниных, и в самом конце октября пустились в путь.

5

«Отъезд с Куровским за-границу: Лупов, Торн, Берлин, Париж, Женевское озеро, Вена — Петербург. Потом я в Москве».

Они побывали в Берлине, Париже, где в этом году была всемирная выставка. Там жила теща Куровского, у которой они и остановились. Это была нервная, с уклоном в психопатию, много курящая женщина, с блестящими карими глазами. Если ей возражали, она сердилась, заявляя: «Со мной нельзя спорить...»

Куровский везде осматривал рынки. Они ходили по музеям, по выставке, очень утомились и с радостью уехали в Швейцарию, где решили передохнуть. Действительно, там они вели чистый образ жизни, бросили курить, пили мало вина и много ходили пешком.

Куровский был редким спутником, с ним всегда было интересно: он, как никто, умел замечать и в людях, и в природе то, что проходило мимо глаз и внимания большинства.

Иван Алексеевич, как я уже писала, был «прямо влюблен в него». Те, кто близко соприкасались с этим человеком: семья, друзья, даже

знакомые, — все относились к нему, как к замечательной личности.

Особенно им было хорошо в Швейцарии. Женева и Женевское озеро отразились в рассказе «Тишина» Бунина, написанном в 1901 году (может быть, когда он гостил на даче Чехова. Во всяком случае, он делал там заметки о их путешествии по Европе).

Иван Алексеевич переводил в то время Манфреда, и ему захотелось заглянуть всюду, где «бывал Манфред». Восхищался, как Манфред, зачерпывает на ладонь воды и бросает её в воздухе вполголоса произнося заклинания. Под радугой водопада появляется Фея Альп.

Ездили они из Женева на трамвае в горы, где чуть было ни остались без ночлега: пришлось с детьми, данными им в проводники, подниматься выше конечной станции трамвая, но там отель оказался уже закрытым. Дети проводили их вниз. Они продрогли, Иван Алексеевич стал бояться воспаления легких, но, к счастью, не простудился, и наконец, после долгих странствий, они отыскали какой-то пустой отельчик, который не был закрыт окончательно, хотя владельцем в нем уже не было. После ужина они легли спать в ледяной комнате. Утром любовались Монбланом. Затем отправились в Лозанну. Оттуда в Монтрё. Посетили и Шильонский замок. Много ходили пешком. Оба находились в повышенном настроении, и о этих днях не только впоследствии, бывая в Швейцарии, но и перед смертью вспоминал Иван Алексеевич.

Из Лозанны они, распрощавшись с французской Швейцарией, по железной дороге, через Берн, направились в немецкую. В Берне, на вокзале, ели какое-то редкое блюдо, чуть ли не из медвежатины, которое потом, десятки лет спустя, тщетно искал Иван Алексеевич, желая угостить им меня, когда мы бывали с ним на этом вокзале.

В Туне они не остановились, а проехали вдоль Тунского озера до Интерлакена, где сделали привал. Там они купили шерстяные чулки, горные палки, а Иван Алексеевич еще теплый картуз и варежки. Решили, несмотря на серую погоду, отправиться в горы, — ведь Манфред был у Юнгфрау... Нашли за 15 франков проводника и поехали к вечным снегам Юнгфрау. По дороге кучер вызвал в одном селении из домика своего знакомого, сказал ему что-то, и тот вынес очень длинный рог и пустил звук. Эхо отозвалось на тысячу ладов. Об этом Иван Алексеевич никогда не мог забыть. Он сравнивал его с аккордом, взятым на хрустальной арфе могучей рукой в царстве гор и горных духов... Жалел, что мне не довелось услышать ничего подобного.

Погода разгулялась. Стало солнечно. Внизу, в долине еще осень, а там, где они ехали — зима. Кучер все время «пел дико иodelьн, — это глубокое нутряное пение».

На следующий день они в поезде доехали до зубчатой дороги, чтобы подняться еще выше. Но, увы, она была уже закрыта. Тогда они решили подниматься в горы пешком. Дорога сначала шла еловыми лесами. Выйдя из них, они увидели Ангер и Юнгфрау с Мёнком. Оттуда по снегу они добрались до Мюрена. Нашли в «этой горной тишине» пустой отель. На этот раз их приняли, подали вкусный обед. Потом Куровский в пустой гостиной играл Бетховена: «И я почувствовал на мгновение все мертвое величие гор». — рассказывал, вспоминая о вечере среди величественных снегов, Иван Алексеевич.

Из Интерлакена поплыли по Бриенцкому озеру до Бриенца, находящегося на противоположной стороне его. Из Бриенца через

Брюнинг попали в Люцерн, где их захватил дождь. На следующий день отправились по озеру до Фиснау, чтобы подняться на Риги-Кульм. Но горная дорога не действовала, и они опять решили подниматься пешком. Погода была серая, вокруг — листопад; шли более пяти часов, утомились очень, шли одно время среди облаков, в мертвой тишине. «С нас, как с лошадей, валил пар». По дороге в каком-то, еще не совсем закрытом отельчике перекусили на скорую руку. Долго шли по снегу. Туман не рассеялся. И они сокрушались, что не увидят во всей красе Бернских Альп. Но все же до Риги-Кульм добрались. На их счастье в одном из трех отелей прислуга еще оставалась. Их впустили, подали обед, и они переночевали в ледяной комнате. Спали, не раздеваясь, в шапках.

На следующее утро туман не рассеялся, и знаменитый на весь мир вид остался для них скрытым.

Из Люцерна они поехали в Цюрих, где Куровский осматривал рынки, а затем направились в Мюнхен и Вену. Конечно, кроме базаров и рынков, они побывали и в картинных галереях, а в Вене глубокое впечатление на них произвел собор Святого Стефана с его замечательным органом.

Из Вены они поехали в Петербург, где тоже не миновали Эрмитажа, музея Александра III, музея Штиглица.

Куровский поехал домой, в Одессу, а Иван Алексеевич в Москву, где пробыв недолго, отправился в Огнёвку, но и там он не усидел и вернулся в Белокаменную.

Зимние швейцарские горы отразились у Бунина в «Маленьком романе» (первое заглавие «Старая песнь»), написанном много позднее, уже при мне, 1909-1926 г.

В 1937 году мы с Иваном Алексеевичем провели несколько дней в швейцарском курорте Вегесе. Из Вегеса он доплыл на пароходе до Фиснау и поднялся, только не пешком, а по зубчатой дороге на Риги-Кульм и, наконец, увидел во всей красе панораму Бернских Альп, которой ему с Куровским, когда они были молоды и счастливы своим поэтическим странствием, не удалось насладиться.

6

В Москве к этому времени переорганизовался по-новому, в расширенном виде, кружок «Парнас». Возник он в первой половине девяностых годов прошлого столетия из небольшого содружества «Парнас». Он состоял из молодых людей купеческого звания, страстно любивших литературу и желавших знакомить друг друга со своими опытами. Беллетрист Телешов, поэт-переводчик Шевченко Белоусов и драматург Махалов были основателями его. «Парнас» собирался в низких антресолях старого дома Телешовых на Вальной улице в Замоскворечье. Первое время интересы его ограничивались лишь отечественной литературой и тем, что писали его члены, но по мере того, как молодежь крепла, начиная кое-где печататься и расширять свои литературные знакомства, характер содружества стал понемногу меняться. Известный в то время писатель Михеев, очень своеобразный человек, знаток западной литературы, первый обратил внимание этих писателей на Ибсена, пробудил интерес к заграничным писателям; художественный критик Сергей Глаголь (Голоушев) явился

связью с миром художников; Ю. А. Бунин, вошедший в этот кружок, заразил молодых литераторов общественностью. Понемногу стали примыкать к нему и другие писатели, сначала москвичи, потом иногородние: Чехов, Тимковский, Хитрово, — любитель литературы и сам писавший, редактор «Русской Мысли» Гольцев, литератор и изобразитель своих юмористических и забавных сценок — Ермилов, председатель «Общества любителей Российской Словесности» Грузинский, писатель из народа Семенов, А. М. Федоров, Короленко, Куприн...

С 1900 года писатели собирались по-прежнему у Телешова, но уже не на Валовой улице, а на Чистых Прудах (куда он переехал после своей женитьбы на художнице Елене Андреевне Карзинкиной, принадлежавшей к одной из самых видных и просвещенных купеческих фамилий), сначала собирались по вторникам, а потом неизменно по средам, и «Парнас» был переименован в «Среду» или «Середу». Число членов этого кружка продолжало расти. К этому времени вошли в него: брат хозяйки Александр Андреевич Карзинкин, льняной король, знаток живописи, член художественного Совета Третьяковской галереи и любитель литературы, особенно стихов, Горький, который вскоре рекомендовал в члены «Среды» Андреева, а потом и Скитальца, Чириков, Серафимович, Вересаев, Гарин-Михайловский; Андреев в свою очередь привел на «Среду» Бориса Зайцева, большого поклонника Леонида Николаевича, совсем еще юного студента.

После собрания, когда кружок окрестили именем «Среды» и когда за обильным ужином было много выпито, уже на улице, кто-то сказал:

— А как-бы, братцы, не заела нас Среда...

И быстро, как это иной раз бывало с младшим Буниным, он ответил:

*Я не боюсь, господа,
Чтобы заела нас Среда
Но я боюсь другой беды,
Чтоб не пропить бы нам Среды...*

Елена Андреевна Телешова отличалась редкой скромностью и застенчивостью, всегда просто одетая, в темном, приютившаяся на уголке стола, она не казалась хозяйкой; на Среде с публикой, иногда, какая-нибудь актриса, ее не знавшая, обращалась к ней с вопросом:

— А где здесь хозяйка?

Она не переносила убийства, и в их имении целая конюшня была отдана слепым лошадям.

Во время Великой войны она с утра до вечера кроила бельё для раненых, так что у нее болели пальцы правой руки от ножниц.

Тип лица у нее был восточный, красивый. Она была образована, очень начитана.

— Из всех друзей только Юлий Алексеевич читал столько, сколько я, — говорила она мне с сокрушением, — писатели вообще читают мало...

Когда подрос её сын, Андрюша, она стала ему и мужу передавать содержание произведений иностранных авторов, еще не переведенных на русский язык.

Мать Карзинкиных, красавица, в девичестве Рыбникова, была сестрой собирателя народных песен. У неё была замечательная

библиотека, много книг в художественно-изящных дорогих переплетках. Приобретала она и картины лучших русских мастеров, среди них был «Христос на Генисаретском озере» Поленова, где так тонко передан цвет неба и воды. Эта картина висела у Телешовых в столовой, когда они переехали на Покровский бульвар в дом Карзинкина.

7

Я нашла среди бумаг Ивана Алексеевича следующую страницу:

«С начала нынешнего века началась беспрецедентная в русской жизни вакханалия гомерических успехов в области литературной, театральной, оперной... Близился большой ветер из пустыни... И все-таки — почему же так захлебывались от восторга не только та вся новая толпа, что появилась на русской улице, но и вся так называемая передовая интеллигенция — перед Горьким, Андреевым и даже Скитальцем, сходила с ума от каждой премьеры Художественного театра, от каждой новой книги «Знания», от Бальмонта, Брюсова, Андрея Белого, который вопил о «наставшем преображении мира», на эстрадах весь дергался, приседал, подбегал, озирался бессмысленно-блаженно, с ужимками очень опасного сумасшедшего, ярко и дико сверкал восторженными глазами? «Солнце всходит и заходит» — почему эту острожную песню пела чуть не вся Россия, так же, как и пошлую разгульную «Из-за острова на стрежень»? Скиталец, некое подобие певчего с толстой шеей, притворявшийся гуслиром, ушкуйником, рычал на литературных вечерах на публику: «Вы — жабы в гнилом болоте!» и публика на руках сносила его с эстрады; Скиталец всё позировал перед фотоаппаратами то с гуслиями, то в обнимку с Горьким или Шаляпиным! Андреев всё крепче и мрачнее стискивал зубы, бледнел от своих головокружительных успехов; щеголял поддѣвкой тонкого сукна, сапогами с лакированными голенищами, шелковой рубахой на выпуск; Горький, сутулясь, ходил в черной суконной блузе, в таких же штанах и каких-то коротких мягких сапожках».

Еще запись:

«Писателем я стал, вероятно, потому, что это было у меня в крови: среди моих дальних родичей Буниных было не мало таких, что тяготели к писательству, писали и даже печатали, не приобретя известности, но были и такие, как очень известная в свое время поэтесса Анна Бунина, был знаменитый поэт Жуковский, сын тульского помещика Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки, получивший фамилию своего крестного отца Жуковского только потому, что был он сыном незаконным. Я еще мальчишкой слышал много рассказов о нем в нашем доме, слышал от моего отца и о Льве Толстом, с которым отец, тоже участник Крымской кампании, играл в карты в осажденном Севастополе, слышал о Тургеневе, о какой-то встрече отца с ним где-то на охоте... Я рос в средней России, в той области, откуда вышли не только Анна Бунина, Жуковский и Лермонтов, — имение Лермонтова было поблизости от нас, — но вышли Тургенев, Толстой, Тютчев, Фет, Лесков... И всё это: эти рассказы отца и наше со всеми этими писателями общее землячество, всё влияло, конечно, на мое прирожденное призвание. Мне кажется,

кроме того, что и отец мой мог стать писателем: так сильно и тонко чувствовал он художественную прозу, так художественно всегда всё рассказывал и таким богатым и образным языком говорил. И немудрено, что его язык был так богат. Область, о которой я только что сказал, есть так называемое Подстепье, вокруг которого Москва, в целях защиты государства от монгольских набегов с юго-востока, создавала заслоны из поселенцев со всей России».

Привожу заметку о родителях и тетке Ивана Алексеевича, внучатой племянницы Людмилы Александровны, княгини Маргариты Валентиновны Голицыной, — в девичестве Рышковой, в которой тоже течет бунинская кровь, — жившей в имении родителей напротив усадьбы Буниных в Озёрках, по другую сторону пруда:

«Насколько я помню Людмилу Александровну (пишет она о матери Ивана Алексеевича), она была небольшого роста, всегда бледная, с голубыми глазами, неизменно грустная, сосредоточенная в себе, и я не помню, чтобы она когда-нибудь улыбнулась.

Я видела ее в последний раз в Глотове (Это, значит, во время Японской войны, когда она жила с Машей и внучатами у Пушешниковых, а Ласкаржевский был призван на войну. В. М.-Б.)

В противоположность Людмиле Александровне, Алексей Николаевич (муж ее) был выше среднего роста, довольно таки плотного сложения, с открытым, веселым розовым лицом, с бело-седыми волосами, которые заканчивались на шее локонами. Был всегда оживлен, весел, быстр, очень хорошо играл на гитаре и пел русские песни; он отличался остроумием.

Варвара Николаевна Бунина (сестра Алексея Николаевича), — её помню уже в глубокой старости. Она была небольшого роста, сгорбленная, с бледным восковым, овальным лицом, с крючковатым носом, а её острый подбородок загибался вверх, и это мне в детстве напоминало открытый клюв птицы. Была она очень живая, веселая: помню, как у нас она играла на фортепьяно и пыталась что-то подпевать своим беззубым, шамкающим ртом. Она была, как-бы, знаешь, ненормальна, например, когда моя бабушка ей предлагала ехать говеть, она отвечала, что её «каждый день Царица Небесная и без того приобщает». Жила она во флигеле, в нескольких саженьях от дома Буниных (в Каменке) и, когда Митя (сын ее племянницы, Софьи Николаевны Пушешниковой) со своими сверстниками, вывертывая полушубки вверх овчиной, пугали её, она отлично их узнавала и кричала в окно: «Митя, Николашка, Вася, не пугайте меня, я до смерти боюсь!» Вообще она в жизни была очень неряшлива, ходила иногда без белья, в одном халате, но тщательно запахиваясь, а на голове её был какой-то странный шлык, из-под которого торчали седые пакли волос. Однажды она лежала на траве и спала. Здесь же ходили куры, и петух, набросившийся на неё, выклевал у неё глаз.

Когда мы об этом узнали, то спросили у Алексея Николаевича, как же это произошло? Он на это нам ответил:

— Навозну кучу разгребая, петух нашел жемчужное зерно, — он всегда острил.

Умерла она 83 лет, а в каком именно году, не помню, так как была в эту пору в Ельце.

Добавлю, что в 1901 году умер в Орле у своей племянницы

Бессоновой, Николай Иосифович Ромашков, воспитатель и учитель Ивана Алексеевича».

Запись Ивана Алексеевича, относящаяся к этому времени:

«Поле, осень, мелкий дождь.

На дороге в грязи стоят новые беговые дрожки с новыми медными гайками на втулках колес. На дрожках возле щитка сидит в кошёлке связанный индюк, тянет бугристую малиновую голову. На меже возле дороги лежит вниз лицом пьяный мужик, бормоча ругается. Высокая темная лошадь, запряженная в дрожки, по-человечески смотрит на него, повернув голову».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Марья Павловна Чехова, собираясь на рождественские каникулы с матерью в Ялту, пригласила Ивана Алексеевича, когда он зашел к ней, погостить у них на праздниках.

— Мы не так будем одиноки на Святках без Антоши, — говорила она: Чехов проводил ту зиму в Ницце.

Ивана Алексеевича прельстило это приглашение: зимой в Крыму он не бывал и пожить в уютном гостеприимном доме ему, бездомному, было по душе.

Вслед за Марьей Павловной и Евгенией Яковлевной он приехал в Аутку. И сразу почувствовал себя хорошо: по утрам, в погожие дни, солнце заливало его комнату; хозяйки были заботливыми, мастерицами в кулинарном искусстве, умели создавать подходящую для писателя обстановку.

Антон Павлович, как это выяснилось после опубликования его писем, был доволен, что Бунин гостит у них и жалел о своем отсутствии.

Евгения Яковлевна полюбила гостя и закармливала его, а с Марьей Павловной у Ивана Алексеевича возникала дружба.

Они ездили в Учан-Су, Гурзуф, Су-ук-Су. Марья Павловна рассказывала о юности и молодости брата, о его неистощимом веселье и всяких забавных выдумках, о Левитане, которого она талантливо копировала, подражая его шепелявости, — он, например, вместо Маша произносил Мафа, — о его болезненной нервности, психической неустойчивости. Повела и о том, что «ради Антоши» она отказалась выйти замуж:

— Когда я сообщила ему о сделанном мне предложении, то по лицу его поняла, — хотя он и поздравиł меня, — как это было ему тяжело... и я решила посвятить ему жизнь...

Рассказывала и о увлечениях Антона Павловича, иногда действительных, иногда воображаемых. Он был очень скрытен и о своих сердечных делах никому вообще не говорил.

Занята была Марья Павловна и продажей именища Кучукоя Перфильевой.

Вскоре по приезде в Ялту Марья Павловна в письме к брату привела только что сочиненные строки Бунина:

*Позабывши снег и вьюгу,
Я помчалась прямо к югу,*

*Здесь ужасно холодно,
Целый день мы топим печки,
Глядим с Бунным в окно
И гуляем, как овечки.*

Последняя строчка ей не понравилась, она нашла ее «глупой». А Иван Алексеевич утверждал, что она самая лучшая...

В такой спокойной обстановке, полной забот о нем, Иван Алексеевич еще никогда не жил. И несмотря на свою семейную драму, боль от которой он, впрочем, скрывал, за едой бывал оживлен и остроумен, чем особенно пленил Евгению Яковлевну.

По утрам и днем, когда он сидел дома, он начал приводить в порядок свои заметки о путешествии с Куровским, а потом засел за рассказ «Сосны», который и окончил после отъезда Марьи Павловны (12 января). Она просила его не оставлять «мамашу» до возвращения Антона Павловича.

После её отъезда стало еще тише и спокойнее, и Иван Алексеевич быстро закончил свой рассказ. Он, как я уже упоминала, всегда писал о северной зиме, когда жил на юге; вероятно, в другой обстановке в его воображении все возникало ярче, мелочи отпадали, оставалось только главное, типичное.

За 1901 год написано восемь рассказов.

На творчество Бунина путешествия действовали всегда очень плодотворно. Писать же он должен был в спокойной обстановке, в простой, но удобной для него комнате. Он всегда утверждал, что знает, в какой комнате он может писать, а в какой нет.

С Евгенией Яковлевной он жил душа в душу. В свободные от занятия и прогулок часы или за столом он спрашивал её о Антоне Павловиче, о его детстве, ранней юности, и она, со счастливым лицом, радостно предавалась воспоминаниям.

Запись Ивана Алексеевича:

«Зима 1901 г., я всё еще жил у Чеховой. Моя запись: «Зима 1901 г. я у Чеховой. Су-ук-Су...»

«Крым зима 1901 г. на даче Чехова.

«Чайки, как картонные, как яичная скорлупа, как поплавки, возле клонящейся лодки. Пена, как шампанское.

Провалы в облаках — там какая-то дивная неземная страна. Скалы известково-серые, как птичий помет. Бакланы. Су-ук-Су. Кучукой. Шум внизу, солнечное поле в море, собака пустынно лает. Море серо-лиловое, зеркальное, очень высоко поднимающееся. Крупа, находят облака.

Красавица Березина (!)».

31 января в Москве первое представление «Трех сестер». Марья Павловна обещала прислать телеграмму к Синани, в книжный магазин. Евгения Яковлевна волновалась. Арсений, чеховский слуга, был послан вниз, в Ялту. Собрались кое-кто из друзей, зная о обещанной телеграмме, на дачу Чехова: начальница ялтинской женской гимназии Варвара Константиновна Харкевич, Середины и еще кто-то. Когда раздался телефонный звонок, и Иван Алексеевич подбежал и взял трубку, то услышал радостный задыхающийся голос Арсения: «Успех аграмадный»... Эту фразу Иван Алексеевич часто повторял при подходящих случаях.

В середине февраля вернулся домой из Италии Антон Павлович. Накануне его приезда Иван Алексеевич переехал в гостиницу «Ялта». Провел тяжкую ночь, — в соседнем номере лежала покойница. Чехов подтрунивал над ним за его страх перед мертвыми...

Он требовал, чтобы Иван Алексеевич бывал у них с утра ежедневно, и они иногда, с прихода Ивана Алексеевича до тех пор, пока позовут их в столовую, оставались в кабинете, просматривая газеты, журналы, приходившие в большом количестве со всех концов России. Иногда они часами молчали, а бывало Чехов раздражался смехом, прочтя что-нибудь забавное в провинциальной прессе, и они бранили рецензентов, критиков за полное непонимание того, о чем они писали. Нередко Чехов укорял своего младшего собрата за малописание, за то, что он относится к литературе, как дилетант... но об этом уже рассказывал сам Иван Алексеевич в книге «О Чехове».

Антон Павлович в то время почти всегда держал корректуру своих произведений. Когда он уставал, то иной раз Иван Алексеевич брал какой-нибудь из прежних, иногда даже полузабытых автором рассказов с подписью Чехонте и начинал читать. И как заразительно смеялся Чехов!... Особенно смеялся он, когда слушал «Ворону», восхищаясь, как Бунин изображал пьяных, — много он с детства на них посмотрелся. Однажды, после чтения рассказа «Гусев», который высоко ценил Иван Алексеевич, чего и не скрыл от Чехова, тот, помолчавши, неожиданно сообщил ему, что он женится.

Ивану Алексеевичу не нужно было спрашивать — на ком? Он был дружен и с Ольгой Леонардовной, но всё же не думал, что их увлечение кончится браком.

Он всегда утверждал, что для Чехова брак был смертельной опасностью. «хуже Сахалина»... Понимал и драму Марьи Павловны, «как ни верти, а хозяйкой станет Ольга Леонардовна, особенно, если она бросит театр. А если не бросит, то какое одиночество и какую тоску будет чувствовать он, когда она — будет жить в Москве, а он — в Ялте, где у него очень мало близких и друзей. Но, понятно, Иван Алексеевич ему ничего не сказал, а Чехов стал шутить, что немки тщательней умываются, любят порядок и детей лучше воспитывают...

Вероятно, сам Антон Павлович понимал всё не хуже Ивана Алексеевича, но судя по письмам Книппер, она настаивала на браке. Чехов был увлечен ею, соединяло их и то, что она играла в его пьесах, она как бы являлась связью его с Художественным театром, который хотя и боготворил его, но всё же пьесы его понимал не по-чеховски, а по-своему, что всегда раздражало автора.

В феврале погода в Ялте была мягкая, приятная. Приехал из Петербурга Миролюбов. У Чеховых толпились гости, от которых он страдал. Приятен ему был только Иван Алексеевич, — в письме к Ольге Леонардовне он пишет:

«Здесь Бунин, который, к счастью, бывает у меня каждый день».

Они рассказывали друг другу о своей жизни, но все же не были до конца откровенны. Я уже писала, что Иван Алексеевич поднимал дух Чехова. Ведь для туберкулёзных больных настроение, или, как теперь говорят, мораль, играет большую роль. И при нем Антон Павлович почти всегда был весел, оживлён, любил над ним подшучивать. Он любил вместе с ним выдумывать всякие забавные истории. Это, конечно, возбуждало и младшего писателя, он становился

неистощим на выдумки, поэтому-то Антон Павлович и писал, что Бунин, «к счастью, бывает каждый день...»

Чехов в это время как раз занимался изданием своих сочинений у Маркса. Многие рассказы он переделывал, чуть ли ни писал заново, — до того они ему не нравились. Но Маркс требовал, чтобы всё напечатанное было предоставлено ему.

В конце февраля Иван Алексеевич должен был покинуть Ялту, о чем Чехов с большим огорчением сообщил невесте.

2

Ранней весной 1901 года Синод отлучил Толстого от Церкви. Для Ивана Алексеевича, как и для всей той России, которая почитала великого писателя, это было большим потрясением.

В письме от 24 марта Чехов выражает сожаление, что Бунин уехал и спрашивает, когда они увидятся. Сообщает, что весной он будет в Москве и остановится в гостинице «Дрезден».

В конце марта Иван Алексеевич приехал в Одессу. В письме он запросил Чехова, не согласится ли Антон Павлович позировать скульптору Эдварсу, его приятелю, талантливому человеку. Чехов попросил отложить сеансы до осени, так как он в апреле уезжает из Ялты.

Ивана Алексеевича из Одессы потянуло опять в Ялту, — несмотря на дружбу с художниками, ему всякий раз там было очень тяжело. Были и осложнения у него со свиданиями с сыном. И он написал Антону Павловичу, что, может быть, на Страстной он опять попадет в Крым.

Чехов обрадовался и ответил, что будет его ждать.

На Страстной Иван Алексеевич приплыл в Ялту, куда приехала и Марья Павловна, и совершенно неожиданно с нею прибыла и Ольга Леонардовна. Антон Павлович был оживлен, весел и, несмотря на то, что у Чеховых гостила Книппер, продолжал настаивать, чтобы Иван Алексеевич бывал у них с утра до позднего вечера, и когда тот отказывался, то никаких отговорок не принимал.

Куприн жил тоже в Ялте, он снял комнатку в Аутке и часто бывал в гостеприимном доме Чеховых.

Иван Алексеевич привел Куприна к Елпатыевским. Они недавно отстроили высоко над Ялтой свою белую дачу.

Елпатыевский, по словам дочери, всегда относился к Бунину с любовью. Ему нравились его рассказы, особенно «На край света» и «Тарантелла» (теперь озаглавленная: «Учитель»). И Иван Алексеевич, когда бывал в Ялте, поднимался к ним.

Вот еще выписка из письма баронессы Врангель, дочери С. Я. Елпатыевского:

«Иван Алексеевич после своей женитьбы на барышне Цакни, родственнице наших знакомых в Балаклаве, часто приезжал в Ялту и всегда бывал у нас.

Отец угощал его вином из погреба Токмакова, которым они запивали жареную скумбрию, под бесконечную критику писателей, на которых они смотрели по-разному.

Когда они пришли к нам с Куприным, рассказы которого Сергей Яковлевич ценит, то в кабинете они залюбовались отражением в стенном зеркале Учан-су и всей перед ней долиной...»

Куприн после этого стал частым гостем Елпатыевских. Ему

появилась дочь «Людмилочка» (или «Лёдя», как звали ее родные), интересна была и жена Елпатьевского, Людмила Ивановна, красивая, статная, породистая женщина с сильным характером.

Вот запись Ивана Алексеевича о пасхальном визите к В. К. Харкевич:

«Весной 1901 г. мы с Куприным были в Ялте (Куприн жил возле Чехова в Аутке). Ходили в гости и к начальнице ялтинской женской гимназии Варваре Константиновне Харкевич, восторженной даме, обожательнице писателей. На Пасхе мы (с Куприным) пришли к ней и не застали дома. Пошли в столовую к пасхальному столу, и веселье, стали пить и закусывать.

Куприн сказал: «Давай напишем и оставим ей на столе стихи»; и стали, хохоча, сочинять, и я написал:

*«В столовой у Варвары Константиновны
Накрыт был стол отменно-длинный,
Была тут ветчина, индейка, сыр, сардинки —
И вдруг ни крошки, ни соринки:
Все думали, что это крокодил,
А это Бунин в гости приходил.»*

Написал он на скатерти, а хозяйка потом вышила эти строки. У Чеховых долго смеялись их выходке.

Ольге Леонардовне нужно было вернуться в театр в начале пасхальной недели, и она уехала в Москву: уехал и Куприн, а Бунин оставался еще некоторое время.

14 апреля они, — Марья Павловна, Антон Павлович и Иван Алексеевич, — отправились завтракать в Су-ук-Су. Там при гостинице был ресторан с большим залом, выходящим на море, с гостиницами в мягких удобных креслах. Во время завтраков и обедов играли итальянцы, иногда исполнявшие неаполитанские песни. Владелицей этого курорта была красавица Березина, вдова инженера.

Завтрак прошел оживленно, Чехов был весел, все были в самом лучшем расположении духа. Когда пришло время расплачиваться, Иван Алексеевич вынул кошелек, Антон Павлович удержал его руку, сказав, что дома он представит ему счет. Вернувшись, он с лукавым видом что-то долго писал и считал на бумажке, потом протянул её Ивану Алексеевичу со словами:

— Вот, господин Букишон, извольте заплатить.
Иван Алексеевич прочел:

Счет Господину Букишону.

1 переднее место у извозчика	5 р.
5 бычков ала фам о натюр	1 р. 50 к.
1 ½ бут. вина экстра сек	2 р. 25 к.
4 рюмки водки	1 р. 20 к.
1 филей	2 р.
2 шашлыка из барашка	2 р.
2 барашка	2 р.
Салат тирбушон	1 р.
Кофей	2 р.
Прочее	11 р.
Итого	27 р. 75 к.

20 апреля Чехов пишет Ивану Алексеевичу укоризненное письмо по поводу того, что он сосватал его с «Скорпионом»...

«Зачем вы ввели меня в эту компанию, милый Иван Алексеевич? Зачем?»

Зачем?»

В мае Чехов, через академика А. Ф. Кони, хлопочет, посылая книгу стихов Бунина в Академию «на пушкинскую премию» (если не ошибаюсь, это были «Листопад», сборник стихов, и перевод «Гайваты» Лонгфелло).

Летом Иван Алексеевич, узнав, что Чехов на кумысе, из Огнёвки пишет ему, а ответное письмо получает от 30 июня; в нем Чехов просит поздравить его с законным браком, но письмо адресовать уже в Ялту. Из этого письма узнаем, что Иван Алексеевич в скором времени едет в Одессу. Чехов пишет: «Не забывайте, что от Одессы до Ялты рукой подать, приехать нетрудно». Это письмо он и подписал «Аутский мещанин»...

Ивана Алексеевича тянуло в Одессу к сыну, и некоторые думали, что, может быть, если бы Анна Николаевна не была так непримирима, то они бы сошлись и наладили свою жизнь. (В будущем она станет жалеть о своей непримиримости и объяснять её влиянием мачехи). Но, мне кажется, едва ли им удалась бы совместная жизнь, уж очень разные у них были и натуры и характеры. Да и могла ли она побороть, будучи такой молодой и неопытной, свою гордость, своё самолюбие: когда дело шло относительно обстановки для писания, ей приходилось бы всегда уступать. Насколько я знаю, Иван Алексеевич два года после разрыва надеялся на примирение. Перестал же он этому верить, махнул рукой только в 1902 году.

Незадолго до своей кончины Иван Алексеевич мне передал, что один раз Антон Павлович очень деликатно коснулся этой стороны его жизни, указав, что сын будет очень страдать от разрыва родителей. Рассказывая мне это, Иван Алексеевич, улынувшись, заметил: «Это влияние Авиловой, как я теперь понимаю, — она говорила Чехову: «Ведь непременно должны быть жертвы... Прежде всего — дети. Надо думать о жертвах, а не о себе».

Но Чехов не имел представления о Анне Николаевне, не знал он по-настоящему и той жизни, которая велась у Цакни и которую Анна Николаевна не хотела бросать, не знал он до конца и характера Ивана Алексеевича, человека очень необычного, сложного, не умеющего приспособляться, могшего писать только в созданных им самим условиях.

В августе Бунин написал Чехову из Одессы и задал Антону Павловичу ряд вопросов. Чехов ему отвечает, что после 1 сентября он остается вдвоем с Евгенией Яковлевной. Просит художника Нилуса, которому хотелось написать портрет, отложить сеансы до весны, так как он очень занят, а потом скоро уедет в Москву. Намерению же Ивана Алексеевича приехать он очень обрадовался: «Буду (с первого сентября) день и ночь сидеть на пристани и ожидать парохода с Вами... Не обманите, голубчик... Поживем в Ялте, а потом вместе в Москву поедем, буде пожелаете...»

В этот период своей жизни он никому писем таких не писал.

4 сентября Иван Алексеевич на пароходе идет в Ялту. 8-го обедает на аутской даче с каким-то прокурором. И опять ежедневно бывает у Чехова. Сначала Антон Павлович чувствовал себя больным, но 9 сентября в письме к жене он сообщает: «Теперь я здоров. Ходит ко мне каждый день Бунин».

В это время в Ялте жил актер Орленев, которого Иван Алексеевич увидел в первый раз и нашел его талантливым, но очень нервным человеком.

Собрался было Чехов перед отъездом в Москву позавтракать с Иваном Алексеевичем в Гурзуфе, но поездку пришлось отменить: Чехов получил приглашение к Льву Николаевичу Толстому в Гаспру.

В этот день Иван Алексеевич отправился с Елпатьяевским в Массандру, где познакомился с Николаем Карловичем Кульманом, который ему понравился своими живыми глазами, веселостью и остроумием, хотя он и оказался победителем какой-то Веры Ивановны, за которой они оба ухаживали, пробуя вино в подвалах Удельного ведомства, заведовал которыми некий Качалов.

По возвращении в Ялту Иван Алексеевич тотчас поспешил к Чехову, чтобы узнать о его посещении Толстого, и с большим интересом слушал, что рассказывал тот, всячески восхищаясь Львом Николаевичем. Чехов признавался, что боится его. И опять говорили о глазах Анны, «которые она сама видит, как они светятся в темноте», и как это написал Толстой, словом, весь вечер был посвящен Льву Николаевичу. И за ужином Антон Павлович еще усерднее подкладывал на тарелку своему любимому гостю и сам немного больше ел и меньше ходил по столовой.

Это случилось за три дня до отъезда Ивана Алексеевича в Москву. Он тогда спешно уехал из Ялты на тройке в Симферополь, где поймал курьерский поезд.

Не знаю точно в каком году Иван Алексеевич встретил Рахманинова в Ялте, но знаю только то, что эта встреча произошла до 1902 года. Я думаю осенью 1901 года, когда Ивана Алексеевича познакомили с Сергеем Васильевичем на каком-то ужине в гостинице «Россия». Знаю одно — в те времена Рахманинов еще не был женат.

За ужином они оказались рядом и сразу же разговорились. Оказалось, что у них одинаковое мнение относительно того, что в те времена начали называть «декадентством». За ужином они пили Абрау Дюрсо, затем встали из-за стола и пошли на террасу. Сошли в сад и за разговором не заметили, как очутились на мону. Сели на канаты и от нелюбимого ими декадентства перешли к любимым поэтам. И так они тогда увлеклись беседой, вспоминая стихи, что не заметили, как прошла ночь. Иван Алексеевич, говоря о ней, определил ее, как беседу, которая могла быть во времена романтические, во времена Герцена, Станкевича, Тургенева.

Я думаю, что тогда Рахманинов приехал в Ялту с Шаляпиным, которому он аккомпанировал.

Однажды в Жуан ле Пен, за завтраком у Марка Александровича Алданова, Сергей Васильевич в присутствии Ивана Алексеевича, Галины Николаевны Кузнецовой, Татьяны Сергеевны (младшей дочери Рахманинова), Леонида Федоровича Зурова и меня рассказал, как Чехов однажды после концерта заметил ему:

- Из вас выйдет большой музыкант.
— Почему вы так думаете? — спросил Сергей Васильевич.
— Я смотрел всё время на ваше лицо за роялем.

В Москве Бунин часто заезжал к Чеховым на Спиридоновку, в дом Бойцова, в двух шагах от Большого Вознесения. Они сняли флигель во дворе, квартира была уютная, Чехову она нравилась, но дамы находили, что она тесна.

А Куприн в это время переехал в Петербург. Стал близким сотрудником в «Мире Божьем», — его очень оценила издательница Александра Аркадьевна Давыдова, в доме которой он стал частым гостем.

Летом, будучи в деревне, Иван Алексеевич писал стихи, и среди них «На глазки синие прелестные...» Это стихотворение, конечно, о сыне... Привожу его:

*На глазки синие, прелестные
Нисходит сумеречный хмель:
Качайте, ангелы небесные,
Все тише, тише колыбель.*

*В заре сгорели тучки вешние
И поле мирное темно;
Светите, дальние, нездешние,
Огни в открытое окно.*

*Усни, усни, дитя любимое,
Цветок, свернувший лепестки,
Лампадка, бережно хранимая
Заботой Божеской руки.*

Всего стихов было им написано около пятидесяти. Лучшими из них он считал: «Был поздний час...», «Зеленый цвет морской воды», «Раскрылось небо голубое...», «Зарницы лик, как сновиденье...» За 1901 год были написаны рассказы: «Новая дорога», «Сосны», «Мелитон», «Костер», «В августе», «Осенью», «Новый год», «Тишина». Начиная с весны он стал посылать их в разные журналы («Жизнь», «Мир Божий», «Журнал для всех», «Русскую Мысль»).

В конце октября Чехов, покинув Москву, уехал в Ялту. Но и после его отъезда Иван Алексеевич часто бывал в его семье, с которой он сходил все больше.

В те дни в Москве много говорили о новой пьесе Немировича-Данченко «В мечтах». Книшпер играла в ней роль очень шикарной дамы, и ей нужно было заказать туалеты у лучшей портнихи. Роль красавицы отдана была Андреевой, и, действительно, она в ней была изумительно хороша. Кантату для этой пьесы написал Гречанинов... Шла речь и о новых постановках: «Михаил Крамер», «Дикая утка». Радовались успеху «Одиноких» и тому, что в театре строят планы о переезде в новое помещение, ибо в Каретном ряду много неудобств, уже тесно.

В начале ноября Горький с семьей должен был из Нижнего-Новгорода переехать в Крым. Он хотел провести день в Москве,

повидаться с друзьями, поговорить о делах «Знания» с Пятницким (нарочно приехавшим для этого из Петербурга), и с переводчиком Шольцем, который тоже ждал Горького в Москве.

Поезд пришел утром, но власти Горькому не разрешили провести день в Москве, семье же позволили поехать в город. Екатерина Павловна сразу кинулась к Телешовым и сообщила о запрещении, потом направилась к Пятницкому, где застала Шольца. Телешов известил Андреева, Бунина, и они все поехали на Курский вокзал, но там узнали, что вагон с Горьким отправлен в Подольск, где он и пробудет до вечернего севастопольского поезда, в котором и поедет его семья. Тогда все приехавшие встречать Горького на вокзал с первым же поездом отправились к нему в Подольск.

Об этом подробно рассказывает Н. Д. Телешов в своей книге «Записки писателя».

Иван Алексеевич потом вспоминал немца-переводчика Шольца, как он «выпучивал глаза на самородков», то есть на Горького и Шаляпина... В Подольске местная полиция не знала, что ей делать.

Шаляпин уже был на подольской платформе, когда писатели туда приехали, и тут они впервые с ним познакомились.

Часа три друзья пробыли в Подольске. Пили шампанское. Севастопольский поезд остановился буквально на минуту, чтобы принять единственного пассажира, Горького, и быстро двинулся дальше.

После этого провожавшие вернулись в Москву. Иван Алексеевич бросился к Чеховым, там застал Куприна, который очень жалел, что не сопровождал Горького.

Иван Алексеевич объяснял эту меру со стороны московских властей тем, что они испугались манифестации студентов и курсисток на Курском вокзале. И под первым впечатлением живо представил, какие были в Подольске у всех лица, и кто что говорил.

Чеховы решили переменить квартиру. Начались поиски, остановились на квартире в доме Фирсановой-Ганецкой, где были знаменитые на всю Москву Сандуновские бани, и вскоре туда переехали. Иван Алексеевич побывал у них на новоселье. Квартира была просторная, но находилась на третьем этаже, без лифта.

В это время в газете «Курьер», в номере 3185, была напечатана статья Глаголя о стихах Бунина, где критик, сам будучи художником, сравнивает Бунина с Левитаном. «Бунин в области стиха такой-же художник, каким является «поэт русского пейзажа» Левитан — в живописи». Тогда Ольга Леонардовна, в письме к мужу, находила, что «перехвалил Глаголь»... Думаю, что теперь она переменила свое мнение. В этом же письме она сообщает, что «в субботу Букишон читает о Бёклине в Кружке. Маша пойдет, а я занята».

Никогда я ничего не слыхала об этом докладе.

Московская беспорядочная жизнь сказывалась на Иване Алексеевиче: вид был скверный, он чувствовал себя очень утомленным, стал подумывать о деревне, но ему хотелось посмотреть «Детей Ванюшина». Премьера была назначена на 14 декабря 1901 года, и пьеса прошла с большим успехом.

Побывав на премьере, в театре Корша, он отправился к Пушешниковым, в Васильевское, где и пробыл все Святки.

В январе 1902 года Иван Алексеевич поселился на Арбате в меблированных комнатах «Столица». Это было в двух шагах от Староколюшенного переуллка, где жил Юлий Алексеевич.

Ежедневно в пятом часу, когда кончается прием в редакции, у Юлия Алексеевича в двухэтажном флигеле, в глубине просторного двора, за большим особняком с садом доктора Михайлова, издателя журнала «Вестник Воспитания», в нижнем этаже, происходит чаепитие. Младший брат, во время своего пребывания в Москве, не пропускает этих сборищ, куда почти ежедневно приходили: журналист Николай Алексеевич Скворцов (покончивший жизнь самоубийством в Киеве в 1918 или 1919 году), милый, горячий, умный человек, всем сердцем преданный Юлию Алексеевичу, и другие приятели из «Русских Ведомостей», а когда племянники Пушкишниковы стали учиться в Москве, то и они были неизменными гостями. И тут начиналось большое оживление, смех, шутки и рассказы младшего Бунина о том, где он был накануне, или в этот день. Затем возникали споры о литературе. Юлий Алексеевич старался уговорить своего брата, нападавшего то на одно, то на другое произведение, уже шумящее, и попутно представлявшего в лицах своих друзей и недругов, да так что все помирали со смеху. Обсуждались у Юлия Алексеевича и текущие политические события.

В середине января Иван Алексеевич получил от Чехова новогоднее поздравление со всякими шутивными пожеланиями. Спрашивает, писал ли он о «Соснах»? (Бунин послал ему оттиск этого рассказа) «Сосны» — это очень ново, очень свежо и очень хорошо, только слишком компактно, вроде сгущенного бульона».

«Осенью» ему не понравилось, о чем он и пишет жене в ответ на ее сообщение, что она вслух читала этот рассказ Марье Павловне и художнице Дроздовой и что ей рассказ понравился: «с сильным настроением»... Начали они после этого читать «В цирке» Куприна, но «стало скучно», и она пошла писать письмо мужу. На это Чехов ей возражает: «Осенью» Бунина сделано несвободной рукой, во всяком случае купринское «В цирке» гораздо выше. «В цирке» — это свободная, наивная, талантливая вещь, притом написана знающим человеком... ну, да Бог с ними! Что это мы о литературе заговорили?» Мнение Чехова об этих рассказах Иван Алексеевич знал, но не знал, по какому поводу оно было высказано...

Из Москвы Иван Алексеевич едет в Петербург, везет новые рассказы, получает в «Мире Божьем» гонорар за «Осенью».

Бывает чуть ли ни ежедневно в гостеприимном доме Давыдовых, проводит время в их огромной зале, где постоянно толпится молодежь: подружки Муси, муж Сони Кульчицкой, молодой ученый Михаил Иванович Ростовцев, умный, талантливый, веселый человек, в будущем мировая знаменитость, сыновья Н. К. Михайловского и другие. Ивану Алексеевичу эта компания была по душе своей живостью, остроумием, ядовитой насмешливостью. Особенно этим отличалась молодая хозяйка, хорошенькая Муся, которая впоследствии, когда мы с нею познакомимся и проводили ночи в Лоскутной гостинице, меня уверяла, что ей очень понравился Иван Алексеевич, но он был женат...

Однажды вечером Александра Аркадьевна Давыдова поехала к Михайловскому. Между ними по какому-то поводу возник крупный разговор. Она разволновалась. Ей сделалось дурно, и её привезли в полубессознательном состоянии домой. Все переполошились; послали за врачом. Она пришла в себя и, позвав Мусю, выразила свою предсмертную волю: «выйти замуж за Александра Ивановича Куприна», которого она ставила, как писателя, высоко. Она боялась, что после её смерти журнал захиреет, если во главе не станет авторитетное лицо. Она не надеялась, что Муся одна справится с этим трудным делом. Между тем, если и был спасен журнал, то только Марьей Карловной, которая была умна и деловита. Думаю, что Александр Иванович ничего не дал журналу, кроме имени и своих произведений, — он в жизни был беспомощным, даже его личными литературными делами ведали его жены.

Александра Аркадьевна больше думала о журнале, чем о счастье дочери, у которой, как и у Куприна, был бешеный характер и которая к Куприну не чувствовала ничего, кроме дружбы. Кажется и Куприн отдавал предпочтение Лёде Елпатьевской, к тому же он уже пил.

После этого предсмертного волеизъявления, Муся выскочила из спальни матери и бросилась к Ивану Алексеевичу, который был у них в этот вечер, с вопросом: «Что ей делать?»

Он отговаривать не стал.

Вскоре после похорон Александры Аркадьевны Муся стала невестой Куприна, а затем они повенчались.

Из Петербурга Бунин опять вернулся в Москву, бывал на «Средах» у Телешовых; обедал у них и запросто, подружился с женой, Еленой Андреевной, которая трогательно относилась к нему, выделив его из всех писателей, даже самых в ту пору знаменитых.

Посещал он и «Литературный Кружок», где Бальмонт его познакомил с Любовью Ивановной Рыбаковой, — Любочкой, как её все звали, женой известного психиатра и сестрой литератора Георгия Чулкова, одного из создателей «мистического анархизма».

К этому времени Иван Алексеевич оправился от пережитой драмы с женой и примирился с тем, что он опять один. За эти годы он возмужал, стал «похож на себя», то есть на того, каким его узнала в 1906 году. Он был красив, носил пышные усы и бородку клинышком, — девки в деревне прозвали его «клочком», — был элегантен, одевался уже у лучших портных, и никто не догадывался, в каких примитивных условиях живет он у брата в деревне...

Из Москвы он съездил в Огнёвку. Повидался с родными, заехал в Ефремов к матери и Ласкаржевским, у которых был уже сын Женья. Оттуда махнул в Одессу и остановился опять у Куровских. Бывал он на собраниях художников. Буковецкий был женат, жил он в своем прелестном особняке на Княжеской и не так часто принимал своих друзей и приятелей. Художники же решили продолжать свои «Четверги» и собираться по этим дням в ресторане. Они выбрали ресторан Доди, там во втором этаже был большой отдельный кабинет, где стоял во всю длину комнаты стол. Они раскладывали на нем свои альбомы и рисовали друг друга, тут же им подавали ужин, обильный, с большим количеством вина, каждый платил за себя.

Заузе садился за пьянино. Нилус с Куровским часто пели дуэты, оба были музыкальны, у обоих были приятные голоса. Бунин рас-

сказывал, представлял всех в лицах, а иногда, когда бывало особенно оживленно и весело, плясал. Каждый проявлял свое дарование. Женщин приглашали редко. Жен одесситов никогда, но приезжих иногда допускали. Я бывала на этих ужинах, когда мы гостили в Одессе, — всякое наше путешествие, куда бы мы ни держали путь, начиналось и кончалось Одессой. Все участники «Четвергов» горячо любили эти дружеские собрания.

Вскоре по приезде Ивана Алексеевича к Куровским, в Одессу приехали «молодые» Андреевы. Они отыскивали Бунина. Куровские угощали их обедом из южных блюд. После обеда все отправились на Ланжерон, и «молодые», уединившись, долго сидели и смотрели, как разбивались волны о прибрежные камни.

Андреев называл себе Велигорским; он был женат на нашей курсистке Велигорской, очень хорошенькой, с которой я была знакома. Горький называл ее Дама-Шура, всегда вспоминал её с большой нежностью.

Пешковы поселились в это время в Алушке у Токмаковой, на даче «Нюра».

В марте Горького избрали в академики.

Иван Алексеевич списался с Чеховым относительно портрета, который хотел писать с Антона Павловича Нилус. И друзья в самом конце марта поплыли в Ялту.

Из Москвы приехал Телешов, часто у Чеховых бывал Елпатьевский, к которому нередко на его белую дачу поднимался Бунин, и «они весело попивали токмаковское вино, заливая им жареную скумбрию». Вели бесконечные разговоры о литературе, а главное о болезни Льва Николаевича, которого навещал Сергей Яковлевич Елпатьевский, и Бунин мог слушать его без конца.

Чехов чувствовал себя сравнительно хорошо. После своей зимней болезни и тревоги за жизнь Толстого, он успокоился. Волновало его только неутверждение Горького академиком, но это было другое волнение, которое на здоровье не отражалось.

Ольга Леонардовна играла в Петербурге, где Художественный театр давал свои представления. Ставили, среди других пьес, и пьесу Горького «Мещане», которая, несмотря на всякие слухи и страхи полиции, прошла без демонстрации.

По прибытии в Ялту, Нилус принялся за портрет Антона Павловича. На сеансах, правда, коротких, в полчаса, всегда присутствовал, по настоянию Чехова, Бунин, отчего они проходили незаметно, среди оживленных разговоров, шуток и смеха.

По вечерам же у Чеховых собирались гости: Нилус, Телешов, Елпатьевский, Куприн, иногда Горький.

«После ужина Бунин или Букишон, — вспоминает Н. Д. Телешов, — как ласково называл его Чехов, предложил прочитать вслух один из давних рассказов Чехонте, который Антон Павлович давно забыл. Бунин, надо сказать, мастерски читал чеховские рассказы. И он начал читать.

Трогательно было видеть, как Антон Павлович сначала хмурился, неловко ему казалось слушать своё же сочинение, потом стал невольной улыбаться, а потом, по мере развития рассказа, буквально трясся от хохота в своем мягком кресле, но молча, стараясь, сдерживаться».

Вот в эти-то вечера Чехов говорил, что это он проложил дорогу,

«стену лбом прошибал» для маленьких рассказов, и как за это ему влетало от всяких критиков и историков литературы...

Много времени посвящали и обсуждению того, что Горького не утвердили академиком. Возмущались, ругали власть предрежащую. Чехов очень волновался, говоря, что он поставлен в глупое положение: он первый поздравил Алексея Максимовича и теперь должен, как академик, примириться с этим неутверждением.

Антон Павлович нетерпеливо ждал приезда жены из Петербурга, но был в легком, хорошем настроении. На Страстной неделе приехал из Москвы Иван Павлович, что особенно было приятно брату.

5 апреля телеграмма: Ольга Леонардовна заболела. И посыпались ежедневные телеграммы из Ялты в Петербург и из Петербурга в Ялту. Решено было, что больную привезут к Антону Павловичу; в Ялту приехал Немирович-Данченко, подробно рассказав, в чем дело.

Конечно, писание портрета было прекращено, — он так и остался незаконченным. Приезжие стали разъезжаться.

На первый день Пасхи Ольгу Леонардовну с температурой 39, на руках, с парохода перенесли на аутскую дачу. Страдания были невыносимы. Но уже 25 апреля муж пишет сестре, что больной лучше и что не сегодня-завтра её спустят с постели.

4 мая, в письме Ивану Алексеевичу, он сообщает, что жена поправляется и что после 20 мая они переедут в Москву.

Из Ялты Иван Алексеевич направляется в Огнёвку, откуда, прожив несколько месяцев, едет в Одессу, поселяется на Большом Фонтане, на даче Гернет, на 13-ой станции парового «трамвая» — от Одессы на Большой Фонтан.

Занимал он маленькую белую комнатку, с окном, выходящим на море.

Неподалеку жили на даче Нилус с Буковецким.

В это лето Иван Алексеевич изучал море во все часы дня и ночи.

Запись Бунина:

«2 часа. Моя беленькая каморка в мазанке под дачей. В окошечко видно небо, море, порою веет прохладный ветерок; каменистый берег идет вниз прямо под окошечком, ветер качает на нем кустарник, море весь день шумит; непрерывный поднимающийся и повышающийся шум и плеск. С юга идут и идут, качаются волны. Вода у берегов зеленая, дальше синева-зеленая, еще дальше — лиловая синева. Далеко в море все пропадает и возникает пена, белеет, как чайки. А настоящие чайки опускаются у берега в воду и качаются, качаются, как поплавки. Иногда две-три вдруг затрепещут острыми крыльями, с резким криком взлетают и опять опускаются».

У него шел роман с Верой Климович, дочерью богатого дачевладельца.

Пробыл он там до сентября. В Одессе обнаружилась чума, и Иван Алексеевич, конечно, быстро собрался и, как он пишет, «уплыл от чумы в Ялту».

Мне кажется, что Иван Алексеевич ошибся, он уплыл не в Ялту, а в Николаев, оттуда поехал в деревню, а затем в Москву. Ни в конце августа, ни в сентябре Чехов ни в одном письме не упоминает что Бунин в Ялте, а это на него не похоже.

Из Огнёвки после 10 сентября Иван Алексеевич едет в Москву. Везет рассказ «Надежда» и 14 стихотворений. Одно — как бы прощальное — жене:

*Если б вы и сошлись, если б вы и смирились,
— Уж не той она будет, не той!...*

Урожай небольшой, но это понятно при его цыганском образе жизни. Работал он над переводом «Манфреда», задумал переводить и «Наина»...

Часто в Москве он бывал у Чеховых, встречался там с Найденовым, Дроздовой, доктором Членовым, Середиными, с Иваном Павловичем Чеховым.

6 октября была генеральная репетиция «Мещан». На следующий день Иван Алексеевич отправился к Чеховым, чтобы поделиться впечатлениями, встретил у них Суворина, который говорил без умолку, бранил пьесу, с ним спорили. Иван Алексеевич с интересом наблюдал за ним, зная о его прежней дружбе с Антоном Павловичем, зная все его и недостатки, и достоинства по отзывам Чехова. Человек любопытный, самородок, легко менял свои убеждения. В то время относились к нему хорошо только правые. Была в этот вечер у Чеховых и Марья Григорьевна Середина, будущая жена А. Т. Гречанинова.

После пятнадцатого октября приехал в Москву Антон Павлович. В письме к Куприну от 18 октября он сообщает... «Вчера у меня был Бунин, он в меланхолическом настроении собирается за-границу». Но за-границу в том году он не поехал, а поселившись в «Столице», прожил почти до Рождества в Москве. С Юлием Алексеевичем виделись они ежедневно, иногда по два, по три раза в день. Связь у них была прочная, и на многое они смотрели одинаково, хотя младший брат все воспринимал острее, а старший старался все смягчать, но, конечно, несмотря на умственную и душевную близость, они были разные люди, с разными устремлениями.

В этот сезон Бунины познакомились с Зайцевыми; Иван Алексеевич посещал вечера Рыбаковых, где собирались «декаденты» и «декадентки», с Бальмонтом во главе. Последние так облепляли его, что сидели у его ног, на ручках его кресла, и чуть ли не у него на коленях... Молодая хозяйка, художница, воодушевляла всех своей легкостью, непосредственностью. Она красива, настоящая флорентинка, сложена как мальчик, всегда в платье с высокой талией, большим вырезом; на щеки спадают черные локоны, огромные глаза сверкают радостью...

Бывал Иван Алексеевич и на генеральных репетициях в Художественном театре. Видел и короткие пьесы Метерлинка: «Слепые», «Втируша» и «Там внутри», но Метерлинком не восхищался, не приходил в восторг и от «Дикой утки» Ибсена.

Художественный театр переехал в новое помещение в Камергерском переулке. Он не был похож на обычные театры, все было в серых тонах, что поклонникам и особенно поклонницам очень нравилось, и многие свои гостиные и будуары стали обставлять в этом стиле.

Из Художественного театра в том году ушел Мейерхольд, но в некоторых пьесах его заменил Качалов, который понемногу становится кумиром женских сердец.

Приехал в Москву Горький, стал посещать «Среды», бывал у Чехова, где встречался с другими писателями.

На «Среде» читал он свою новую ньесу «На дне». Эта «Среда» было необычной: были приглашены артисты, некоторые литераторы, не бывшие членами «Среды»: писательница Крандиевская, Щепкина-Куперник, Вербицкая, — присутствовали и журналисты, художники, интересующиеся литературой, врачи и адвокаты. Была эта «Среда» не у Телешовых, а у Андреева. Успех был огромный. По Москве пошли слухи: «Горький написал замечательную пьесу из жизни хитровцев...»

В конце этого года, после завтрака в Альпенрозе, где кроме писателей, входивших в состав первой книжки «Знания», был и Шаляпин, Горький предложил поехать в фотографию Фишера и сняться группой. Снимались дважды: на одной группе Иван Алексеевич в профиль, на другой — анфас.

Чехов из Ялты запрашивает жену: «В каком настроении Бунин? Похудел? Зачах?»

Значит душевного покоя у Ивана Алексеевича не было, а жизнь он вел беспорядочную среди бесконечных романов, флиртов и всяких женских дружб. Только уезжая в деревню, теперь чаще в Васильевское, к своей кухне С. Н. Пушешниковой, начинал он вести здоровый образ жизни, и не брал в рот вина.

Племянники Пушешниковы, как я уже писала, из юношей превращались в молодых людей. Колю, самого нелепого, но одаренного, Иван Алексеевич выделил, стал руководить им, наставляя его, помогал ему разбираться во всех вопросах литературы и жизни. Ему рано пришлось оставить гимназию из-за астмы и частых воспалений легких, и он подолгу жил в деревне, когда его братья учились в гимназии.

Будучи очень любознательным, он по книгам Мензбира изучил птиц, наблюдая за ними, хорошо знал звездное небо, чем особенно пленил Ивана Алексеевича, с детства любившего темное ночное небо.

Старший брат Коли, «Митюшка», как его в шутку все звали, с этого года учился в московском университете, выбрав юридический факультет. Этот племянник дружил с Юлием Алексеевичем, который в свою очередь много дал ему в смысле развития. Он стал завсегдаем его пятичасового чаепития.

В Москве, Петербурге, Одессе, даже в Крыму Иван Алексеевич часто бывал в ресторанах, много пил, вкусно ел, проводил зачастую бессонные ночи. В деревне он преображался... Разложив вещи по своим местам в угловой, очень приятной комнате, он несколько дней, самое большое неделю предавался чтению — журналов, книг, Библии, Корана. А затем, незаметно для себя, начинал писать. За все время пребывания в деревне, как бы долго он там ни оставался, он жил трезвой, правильной жизнью. Пища в Васильевском была обильная, но простая. Он сразу облакался в просторную одежду, никаких крахмальных воротничков, даже в праздники, не надевал. Почти нигде не ездил, кроме того, что катался по окрестностям.

Знакомства ни с кем из помещиков не заводил. Почти все свои досуги проводил с Колей, который еще не учился в Москве (куда он поехал позднее для уроков пения).

Перед своим отъездом в Одессу, в декабре, Иван Алексеевич смотрел первое представление пьесы Горького «На дне».

Привожу заметку о ней самого Ивана Алексеевича (1 том изд. Петрополиса).

«Заглавие пьесы «На дне» принадлежит Андрееву. Авторское заглавие было хуже: «На дне жизни». Однажды, выпивши, Андреев говорил мне, усмехаясь, как всегда в подобных случаях, гордо, весело и мрачно, ставя точки между короткими фразами, твердо и настойчиво:

— Заглавие — всё. Понимаешь? Публику надо бить в лоб и без промаха. Вот написал человек пьесу. Показывает мне. Вижу: «На дне жизни». Глупо, говорю. Плоско. Пиши просто: «На дне». И всё. Понимаешь? Спас человека. Заглавие штука тонкая. Что было бы, например, если бы я вместо «Жизнь человека» брякнул: «Человеческая жизнь?» Ерунда была бы. Пошлость. А я написал «Жизнь человека». Что, не правду говорю? Я люблю, когда ты мне говоришь, что я «хитрый на голову». Конечно, хитрый. А вот, что ты похвалил мою самую элементарную вещь «Дни нашей жизни», никогда тебе не прощу. Почему похвалил? Хотел унижить мои прочие вещи. Но и тут: плохо разве придумано заглавие? На пять с плюсом».

Иван Алексеевич часто вспоминал, что «после первого представления «На дне» автора вызвали девятнадцать раз! Он появлялся на сцене после долгого крика, стука публики, наполнявшей зрительный зал и столпившейся у рампы. Он был в блузе и в сапожках с короткими голенищами, выходил боком со стиснутыми губами, «бледный до зелени». Он не кланялся, а только закидывал назад свои длинные волосы».

Затем он пригласил в ресторан на ужин, где его встретили громом аплодисментов. Он стал сам заказывать метр д'отелю:

— Рыбы первым делом и какой-нибудь этакой такой, чорт её дери совсем, чтобы не рыба была, а лошадь!

И тут, изображая Горького, Иван Алексеевич заливался добродушным смехом.

Тотчас же за этим воспоминанием шло другое: рядом с ним оказался Василий Осипович Ключевский, который поразил его своим «беспечно-спокойным и мирно-веселым видом». Остальные приглашенные были возбуждены до-нельзя. Он стоял, как всегда, «чистенький, аккуратный, искоса поблескивая очками и своим лукавым оком».

Когда он услышал о распоряжении Горького относительно рыбы, ее величины, он тихо заметил:

— Лошадь! Это хорошо, конечно, по величине приятно. Но немного обидно. Почему-же непременно лошадь? Разве мы все ломовые?

Есть два рода людей: одни не выносят повторных воспоминаний, рассказов, а другие выслушивают их спокойно по несколько раз. Я принадлежу ко второму разряду, ибо как бы человек ни передавал воспоминание, всегда что-нибудь да опустит, иногда прибавит, и меня это забавляет, кроме того, если рассказчик талантливый, то это всё равно, что перечитывать хорошую книгу. И я очень любила

слушать это воспоминание: уж очень живо бывали представлены и Горький, и Ключевский с их интонациями и говором...

В эту пору Бунин подружился с Найденовым, который ему нравился тем, что он не старался произвести впечатление своей внешностью, одеждой и поведением, как делали это другие знаменитости.

Раз как-то шли Телешов, Найденов и Бунин по фойе Художественного театра, а навстречу им Горький, Андреев и Скиталец. «Вдруг, — вспоминал в те далекие годы Николай Дмитриевич Телешов, сидя со мной рядом на каком-то юбилее, — Иван Алексеевич с глупым видом, весь подтянувшись, кидается к ним со словами из «Плодов Просвещения»: «Вы охотники?»... произнеся эти слова тоном Коко. Я так и обмер, — признавался Николай Дмитриевич, — а с него, как с гуся вода!...»

Рассказывал об этом со смехом и Найденов, вспоминая лица «охотников»...

В этом же декабре, забыла какого числа, был литературно-музыкальный вечер в пользу «Общества помощи учащимся женщинам» или как в шутку называли «Общества помощи шипящим женщинам».

Организатором этого вечера был Л. Н. Андреев. Устроен он был в Колонном зале Благородного собрания; участники литературной части были все члены «Среды»: Телешов, Найденов, Бунин и Скиталец. В те годы интерес к писателям был очень велик, и огромный зал был набит битком. Писатели имели шумный успех. Последним выступил Скиталец: огромный, на толстой шее лохматая голова, синий широкий бант вместо галстука и, конечно, в блузе. Он встал у самого края эстрады и отрывисто начал декламировать:

Пусть лежит у нас на сердце тень...

далее говорилось, что его песнь не понравится, сравнивал её «с кистенем по пустым головам». Объявил, что он явился, чтобы возвестить, что «Жизнь казни вашей ждет»... И после этих виршей в зале поднялся крик, сопровождаемый не только аплодисментами, но и стуком, топотом... Едва ли на пушкинском утре Достоевскому была сделана такая овация...

А когда он прочел: «Вы — жабы в гнилом болоте!»... восторгу не было границ. Кончил угрозами:

Господь мой грянет грозой над вами
И оживит вас своим ударом!

Тут присутствовавший полицейский не выдержал, вскочил и закрыл собрание. Публика, как ошалелая, ринулась к эстраде с криком «качать»...

Полицейский крикнул, чтобы тушили огни, и в зале наступила темнота.

Исполнителей из артистической попросили удалиться, после чего и публика спустилась вниз; она еще долго толпилась у подъезда.

Писатели, во главе с «знаменитостью», отправились в ресторан Большой Московский. Скиталец «заказал себе щей и тарелку зернистой икры, — вспоминает Бунин, — зачерпнул по ложке того и другого и бросил салфетку в щи: «Нет, я есть не хочу... Больно велик аплодисмент сорвал!»

Кончилось тем, что Скиталец укатил на Волгу, «шипящие женщины» получили с вечера хороший сбор, а Андреев, как подписавший афишу, был привлечен к судебной ответственности... Писателей допрашивали. Газету «Курьер» за отчет о вечере и напечатание стихов Скитальца «Гуслия» закрыли на несколько месяцев. Андреева судили, но он был оправдан.

Иван Алексеевич стал чувствовать свое литературное одиночество и опять мало появлялся в печати с рассказами. Он не был знаниемцем, ему претило то серое, что далеко от настоящего искусства, бездарное и фальшивое, что там печаталось. Модернисты, во главе с Брюсовым, его раздражали своим ненужным подражанием Западу. А между тем книги «Знания» расходились, по словам Горького, тысячами, а тираж «На дне» дошел до ста тысяч! Гремел и Гамсун, Пшебышевский, Бальмонт со своими «Будем, как солнце» — в этом лагере многое не только оскорбляло его вкус, но вызывало смех, недоумение. Со «Скорпионом» он порвал окончательно; выкупив свою книгу и дополнив ее «Новыми стихотворениями», он продал ее в «Знание» в десять раз дороже. Она вышла «Вторым томом» его сочинений. «Первый том» состоял из рассказов.

Перед отъездом из Москвы к нему в «Лоскутную» пришел пожилой господин. Вошел в номер очень нерешительно, смущаясь. Лицо показалось знакомым; но кто, не знал. Оказалось, что это его гимназический учитель русского языка. Он принес свою рукопись с просьбой просмотреть и... устроить. Бывший ученик признался, какой страх нагонял на него он во время уроков.

— А я шел к вам с бьющимся сердцем. Вот как изменились обстоятельства!

И оба от души засмеялись. Бывший учитель жил на Молчановке в нижнем этаже, Бунин заходил к нему. И всегда говорил о нем с большой нежностью.

Показал мне его квартиру. О судьбе его рассказа я не помню.

4

Наконец «Бунин и Бабурин», как шутя прозвал Чехов Ивана Алексеевича и Найденова, сели в международный вагон и укатили в Одессу, где тоже предстояли выступления, пиршества и свидания с друзьями.

Одесситы очень гостеприимны и темпераментны, поэтому Чехов, хорошо знавший этот город, читая одесские газеты, мог вывести заключение, что их «на руках носят».

Остановились молодые писатели на этот раз в Крымской гостинице, она была не самая лучшая.

Время проводили по-одесски: ездили к Федоровым в «Отраду», самую близкую дачную местность, где Федоровы на зиму снимали вместе со своими друзьями, сестрами Вальц, двумя старыми девами и их племянником, большой дом в саду, который на зимние месяцы сдавался дешево. Летом в «Отраде» селились те, кому было необходимо целые дни проводить в городе. Комнаты высокие, просторные,

что давало Федоровым возможность приглашать к себе на обеды приезжих писателей и художников. Такие обеды проходили оживленно и весело. Чествовали приезжих в Артистическом Клубе сотрудники местных газет совместно с любителями литературы: «Дети Ванюшина» уже гремели по всей России. Веселились они у Доди на «Четвергах», а свободные вечера просиживали в пивной Брунса за кружкой пива с сосисками, — хозяин был австриец. Туда же к 11 часам приходили художники и все сидели до полуночи.

У Федорова в это время был роман с очень молоденькой Лизой Д., — он жить не мог без романов, — и потому только заглядывал на дружеские пиры, спеша на очередное свидание; дома же говорил, что едет к художникам. Приятели не выдавали его, но, конечно, иногда зло издевались над ним за измену дружбе. Лиза была худенькой нервной барышней, без памяти влюбившейся в писателя. Ничего серьезного между ними не было, но в юности все кажется серьезным, драматичным. И она, приревновав его, решила покончить с собой; бросилась с моста, но, к счастью, зацепилась за что-то юбкой, и была спасена. Все знавшие её, взволновались: дело сумели замять, и огласки оно не получило.

10 января 1903 года Чехов пишет Гославскому: «На-днях в Ялте будет И. А. Бунин. Я поговорю с ним, и если он посвятит меня в тайны «Знания», то я тотчас же напишу Горькому или Пятницкому, не медля и Вас уведомя, это непременно». Видимо, у писателя Гославского произошло с издательством «Знания» какое-то недоразумение, о котором он писал Чехову.

Ясно, что Иван Алексеевич намеревался из Одессы отправиться в Ялту, но это ему не удалось. 20 января Чехов пишет сестре: «Бунин и Найденов прославляются в Одессе, скоро, вероятно, приедут.»

Но они не приехали, а 16 февраля в письме к жене Чехов удивляется: «Бунин почему-то в Новочеркасске».

Значит, он сообщил Чехову, что вместо Ялты попал в Новочеркасск. А поехал потому, что туда перевели мужа Маши и там жили мать и семья Ласкаржевских. План Ивана Алексеевича был таков: сначала пожить в Ялте, отдохнуть от всяких чествований, а оттуда добраться до Новочеркасска. Но Маша заболела и, как всегда, подняла тревогу из-за пустяков: вызвала Юлия из Москвы и Ивана из Одессы. Он ежедневно посылал матери открытки, правда, очень краткие, но все же она знала, что он «жив и здоров» и где находится. Братья перепугались: Маша ожидала второго ребенка, они знали, что их матери будет не под силу ухаживать за больной дочерью, всегда трудной во время болезни, и внуком Женей, который был всецело на её попечении (это была радость последних лет её). С мужем она видалась только, когда гостила с Ласкаржевскими у Евгения. Трудно, видимо, было ей простить мужу, что он «пустил детей по миру...».

Когда братья съехались, Маша уже была на ногах. Она оправдывалась, что испугалась своей болезни, так как была высокая температура, которая неожиданно упала.

Нужно сказать, что деревенские жители панически боятся всякого заболевания. Малейшее недомогание им кажется уже преддверием смертельной болезни. Меня очень забавляло, когда я стала

жить в Васильевском, как Софья Николаевна при малейшем поднятии температуры у кого-нибудь из взрослых сыновей, начинала нервно ходить по зале и утирать слезы. Я долго не понимала, в чем дело? А потом сообразила: отсутствие медицинской помощи в деревне всегда вызывает страх, что болезнь обернется в опасную, смертельную... Но Маша жила в городе, могла позвать врача...

Конечно, братья побранили её, а потом все были рады свиданию и весело провели время. Мать несказанно радовалась, что увидела своих сыновей, — в чужом для неё городе она больше тосковала по ним, особенно по младшему. Страдала она, что семейная жизнь Ивана Алексеевича опять не удалась. Он привез ей портрет своего Коли, снятого в платице. Она нашла, что он напоминает маленького Ваню.

Через несколько дней Юлий стал собираться в Москву, Иван тоже решил ехать с ним, вспомнив о каких-то делах.

В Москве он оставался недолго. В начале марта на «Среде» он, встретившись с Марьей Павловной Чеховой, сообщил ей, что скоро едет в Ялту. Она попросила отвезти брату ножницы.

Чехов только что перенес очередной бронхит, стал поправляться, когда Иван Алексеевич, наконец, попал в Ялту. И опять он бывал в Аутке чуть ли ни каждый день.

В это время у них часто заходила речь о «Мещанах» Горького, которые шли в Москве. Такого успеха, какой вызвала постановка «На дне», не было. Чехов находил, что «Мещане» — «гимназическое произведение», но заслуга Горького, по его мнению, была в том, что «он восстал первый на мещанство и как раз, когда общество было к этому подготовлено». Чехов говорил, что, когда перестанут читать произведения Горького, его имя останется за его протест против мещанства.

Много смеялись над рассказами Бунина о первом представлении «На дне» и над вечером «шипящих женщин», где гвоздем оказался Скиталец. Особенно веселила Чехова «салфетка, брошенная в щи» и восхищало: «велик аплодисмент сорвал...»

Ненадолго в Ялту приехал Куприн, у которого родилась дочь, чем он очень гордился, ее назвали Лидией в честь рано скончавшейся тетки, Лидии Карловны Туган-Барановской, рожденной Давыдовой. Писатели катались верхом. Куприн хвалил Бунина за посадку. Говорил не раз и мне: «За его верховую езду я прощаю ему всё...»

После разрыва с мужем приехала в Ялту Голоушева, актриса Художественного театра. Приплыл и писатель Федоров из Одессы, — ему хотелось поговорить с Чеховым о своих пьесах, которые он в ту зиму посылал ему: одну он мечтал устроить в Художественный театр, но из этого ничего не вышло.

В конце первой апрельской недели Федоров с Буниным уехали в Одессу. Куприн, соскучившись по жене и дочке, укатил домой, в Петербург.

В Одессе Иван Алексеевич начал хлопотать о билете на пароход, шедший в Константинополь. Он в первый раз целиком прочел Коран, который очаровал его, и ему хотелось непременно побывать в городе, завоеванном магометанами, полном исторических воспоминаний, сыгравшем такую роль в православной России, особенно в Московском царстве. 9 апреля он отплыл в Царьград.

Случайно у меня в руках оказалось письмо Ивана Алексеевича к старшему брату:

«Константинополь 12 апр. 1903 г. Вечер.

Милый Юленька. Выехал из Одессы 9 апр., в 4 ч. дня, на пароходе «Нахимов», идущем Македонским рейсом, т.е. через Афон. В Одессу мы приехали с Федоровым 9-го же утром, но никого из художников, кроме Куровского, я не видел. Да и Куровский отправлялся с детьми на Куликово Поле — народное гулянье — так что на пароход меня никто не провожал. Приехал я туда за два часа до отхода и не нашел никого из пассажиров первого класса. Сидел долго один и было на душе не то, что скучно, но тихо, одиноко. Волнения никакого не ощущал, но что-то все-таки было новое... в первый раз куда-то плыву в неизвестные края... Часа в три приехал ксёндз в сопровождении какого-то полячка, лет 50, кругленького буржуа-полячка, суетливого, чуть гоноровитого и т.д. Затем приехал большой плотный грек лет 30, красивый, европейски одетый, наконец, уже перед самым отходом жена русского консула в Витолии (близ Салоник), худая, угловатая лет 35, корчащая из себя даму высшего света. Я с ней тотчас же завел разговор и не заметил, как вышли в море. «Нахимов» — старый, низкий пароход, но зыби не было, и шли мы сперва очень мирно, верст по 8 в час. Капитан, огромный, добродушный зверь, кажется, албанец, откровенно сказал, что мы так и будем итти всё время, чтобы не жечь даром уголь: зато не будем ночевать возле Босфора, а будем итти всё время, всю ночь. Поместились мы все, пассажиры, в верхних каютах, каждый в отдельной. За обедом завязался общий разговор, при чем жена консула говорила с ксёндзом то по-русски, то по-итальянски, то по-французски, и все время кривляясь а ла высший свет невynosимо. И всё шло хорошо... медленно терялись из виду берега Одессы, лило вечерний свет солнце на немного меланхолическое море... Потом стемнело, зажгли лампы... Я выходил на рубку, смотрел на еле видный закат, на вечернюю звезду, но недолго: наверху было ветрено и продувало прохладой сильно. Часов в 10 ксёндз ушел с полячком спать, грек тоже, а я до 12 беседовал с дамой — о литературе, о политике, о том, о сём... В 12 я лег спать, а утром солнечным, но свежим, пошел на корму... поглядел на открытое море, на зеленоватые тяжелые волны, которые, раскатываясь все шире, уже порядочно покачивают пароход. Добрался до каюты. Затем заснул и проснулся в 11 ч... Балансируя, пошел завтракать, съел кильку, выпил рюмку коньяку, съел паюсной икры немного — и снова поплелся в каюту; завтракал только капитан и полячок. Остальные лежали по каютам, и так продолжалось до самого входа в Босфор. Пустая кают-компания, утомительнейший скрип переборок медленные раскачивания с дрожью и опусканиями — качка всё время была боковая, — пустой полусон, пустынное море, скверная серая погода... Проснусь, — ежеминутно засыпал, спал в общем часов 20, — выберусь, продрогну, почувствую себя снова хуже — и опять в каюту, и опять сон, а временами отчаяние: как выдержать это еще почти сутки? Нет, думаю, в жизни никогда больше не поеду. К вечеру мне стало лучше, полное отсутствие аппетита, отвращение к табаку и тупая сонливость продолжалась всё время. К тому же солнце село в тучи, качка усилилась — и чувство одиночества,

пустынности и отдаленности от всех близких еще более возросло. Заснул часов в семь, снова выпил коньяку, — за обедом я съел только крохотный кусок барашка, — изредка просыпался, кутался в пальто и плэд, ибо в окна сильно дуло холодом, и снова засыпал. В 2 часа встал и оделся, падая в разные стороны: в 4 часа, по словам капитана, мы должны были войти в Босфор. Выбрался из кают-компании к борту — ночь и качка — и только. Сонный лакей говорит, что до Босфора еще часа 4 ходу. Каково! В отчаянии опять в каюту и опять спать. Вышел часа в 4 — холодный рассвет, но не признака земли, только вдаль раскиданы рыбачьи фелюги под парусами... кругом серое холодное море, волны, а внизу — скрип, качка и холод... Снова заснул... Открыл глаза — взглянул в окно — и вздрогнул от радости: налево, очень близко гористые берега. Качка стала стихать. Выпил чаю с коньяком — и в рубку. Сюда скоро пришли и остальные, за исключением дамы; солнце стало пригревать, и мы медленно стали входить в Босфор...

До завтра, пора спать, половина десятого. В противоположном доме, который от Подворья отделен улицей в 2 шага, музыка. Что-то заунывно страстное. Играют, не знаю на чем, — как будто на разбитом фортепьяно. Теперь заиграли польку... В подворье тишина.

13 апр. (воскресенье) 1903 г.

Вход в Босфор показался мне диковатым, но красивым. Гористые пустынные берега, зеленоватые, сухого тона, довольно резких очертаний. Во всем что-то новое глазу. Кое-где почти у воды, маленькие крепости, с минаретами. Затем пошли селения, дачи. Когда пароход, следуя изгибам пролива, раза два повернул, было похоже на то, что мы плывем по озерам. Похоже на Швейцарию... Подробно всё расскажу при свидании, а пока буду краток. Босфор поразил меня красотой, К. (онстантинополь). Часов в 10 мы стали на якорь, и я отправился с монахом и греком Герасимом в Андреевское Подворье. В таможене два турка долго вертели в руках мои книги, не хотели пропустить. Дал 20 к. — пропустили. В подворье занял большую комнату. Полежав, отправился на Галатскую башню».

Как это типично для Бунина! Он всегда, приезжая в новый город, прежде всего поднимался на самое высокое место, чтобы сверху осмотреть всё, понять в целом, а потом уже начинал знакомиться по частям.

Его записи:

«Незабвенная весна (апр. 1903 г.), первый раз в Константинополе...

Золоченый каик на Босфоре. Гребец в короткой расшитой безрукавке, в феске, толстомордая негритянка-служанка и женщина в белой легкой чадре и в черном, атласном, широком бурнусе, её молодая маленькая нога в черной лаковой туфельке.

Пятно табачного цвета на глазных яблоках. Оч. смуглый, рябой, черный длинный халат, феска обмотана пестро-золотистым платком».

Пребывание в Константинополе я считаю самым поэтическим из всех путешествий Ивана Алексеевича: весна, полное одиночество, новый, захвативший его мир.

У него не было знакомых, видался и разговаривал он только с проводником Герасимом, необыкновенно милым человеком, никогда не расстававшимся со своим зонтом.

Он очень хорошо показал ему Константинополь, — когда через четыре года я попала туда вместе с Иваном Алексеевичем, то была поражена его знанием этого сказочного города.

Кроме обычных мест, посещаемых туристами, Герасим водил его в частные дома, к гречанкам необыкновенной толщины, похожим на родственниц Цакни, любезно угощавшим его вареньем со студеной водой, где-нибудь на Золотом Роге.

Византия мало тронула в те дни Бунина, он не почувствовал её, зато Ислам вошел глубоко в его душу.

Вот что он пишет в своей «Тень Птицы»: «Не знаю путешественника, не укоровшего за то, что они (турки) оголили храм. Но турецкая простота, нагота Софии возвращает меня к началу Ислама, рожденного в пустыне. И с первобытной простотой босыми входят сюда молящиеся, — входят, когда кому вздумается, ибо всегда и для всех открыты двери мечети. С древней доверчивостью, с поднятым к небу лицом и с поднятыми ладонями обращают они свои мольбы к Богу в этом светоносном храме:

*Во имя Бога, милосердного и милостивого!
Хвала Ему, Властителю вселенной!
Владыке Дня, Суда и Воздаяния!*

Трогает Бунина то, что «тайные мольбы и славословия падающего ниц человека со всех концов мира несутся всегда к единому месту: к святому городу, к ветхозаветному Камню в пустыне Измаила и Агари...»

Я считаю, что пребывание в Константинополе в течение месяца было одним из самых важных, благотворных и поэтических событий в его духовной жизни.

После женитьбы, после разрыва с женой, после беспорядочной жизни в столицах, Одессе и даже Ялте, он, наконец, обрел душевный покой, мог не отвлекаясь повседневными заботами, развлечениями, встречами, даже творческой работой, подумать о себе. Отдать себе отчет в том, как ему следует жить.

Он взял с собой книгу персидского поэта Саади «Тезкират», он всегда, когда отправлялся на Восток, возил её с собой. Он высоко ценил этого поэта, мудреца и путешественника, «усладительного из писателей». «Родившись, употребил он тридцать лет на приобретение познаний; тридцать — на странствования и тридцать — на размышления...»

Бунину было в эту весну 32 года, и он мечтал пойти по следам Саади, то-есть, прожив тридцать лет, приобретая познания, тридцать лет отдать странствиям, — и тут он решил никогда ни с кем не связывать свою судьбу, «не делить ни с кем своих дней»...

Он чувствовал, что не рожден для семейного очага, сознавал, вероятно, свои недостатки, как мужа. Ему, как поэту, нужен весь мир. То, что царило в то время в литературе, ему было не по душе, он должен идти своим путем, который не даст ему много денег и славы, но даст возможность, по словам Саади, «оставить по себе чекан души своей и обозреть красоту мира!»

В Константинополе его поражала двойственность: величие, красота, богатство и — убожество, грязь, нищета.

Босфор, Золотой Рог, Скутари «со своей деревенской тишиной,

домиками с решетчатыми окнами балконов, где томятся жены не очень богатых турок, с фонтанами, с белыми изящными минаретами среди мшистых развалин, с знаменитым кладбищем под высокими густыми темными кипарисами, под которыми стройно белеют столбики в чалмах, где воздух оглашает пение соловьев, говорившее о радостях любви и жизни...»

Есть фотография тех дней: Бунин снят с двумя суданскими неграми: один в низкой феске, другой в каком-то непонятном головном уборе, а сзади них, положив руки им на плечи, стоит он — в темном костюме, в мягкой белой рубашке с длинным галстуком, без шляпы. Причесан на косой ряд, узенькая прядь на лбу, худой с очень серьезными глазами.

День он проводил с милым Герасимом, который уже был не в шляпе, как на пароходе, а в картузике, но с неизменным тяжелым зонтом под мышкой.

Посетили они много всяких таверн, харчевен, ели кебаб прямо на улице, стоя, из кипящего жиром огромного котла... И Герасим всегда повторял: «Кусай, кусай, пойдешь домой, будешь рассказывать...» и они «кусали и кусали»... Заходили и в кофейни, где злоупотребляли турецким кофею, сладким, душистым и крепким, смотрели на турок, куривших кальян, молча сидевших по целым часам, скинув одну туфлю и поставив ногу на узенький диван.

Много раз проходили по знаменитому базару, где продавцы хватили за рукав и тащили в свои лавки, чтоб показать товар, отлично зная, что покупать они у них не будут, но им нравилось показывать, вызывать восхищение у смотрящего. Там Иван Алексеевич насмотрелся на бесценные ковры, шали, вышивки золотом и серебром, медные кувшины с тонкими узорами, столики из черного дерева с инкрустациями, словом, на всё, что продается на Востоке. Всё было изящно и красиво. Там на память о этих днях он купил себе чудесную феску, которая ему очень шла, — он становился похож на красивого турка.

Неизгладимое впечатление произвели на него дервиши. За несколько мелких монет впустили его с Герасимом в высокий восьмигранный зал, с трех сторон хоры, украшения — суры Корана.

Дервишей было около двадцати, ими руководил шейх: «И по мере того, как все выше и выше поднимались голоса флейт... всё быстрее неслись по залу белые кресты-вихри... и всё крепче топал ногой шейх: приближалось страшное и сладчайшее «исчезновение в Боге и вечности...» («Тень Птицы»).

На Башне Христа он переживал нечто подобное, что и у дервишей: «Теплый сильный ветер гудит за мною в вышине, пространство точно плывет подо мною, туманно-голубая даль тянет в бесконечность...» («Тень Птицы»).

Он рассказывает, что вихрь вокруг шейха зародился в мистериях индусов, в таинствах огнепоклонников, в «расплавке» и «опьянении» суфийства с его мистическим языком, в котором под вином и хмелем — упоение Божеством... и ему припоминаются слова Саади:

«Ты, который некогда пройдешь по могиле поэта, вспомни его добрым словом!... и как назвать человека, не чувствующего этого восторга?»

— Он осел, сухое полено». («Тень Птицы»).

Так Бунин заканчивает свою «Тень Птицы», написанную после нашего первого путешествия на Ближний Восток в 1907 году, но там всё из впечатлений его пребывания в Константинополе в 1903 году, в ту «незабвенную весну».

Прошел месяц, иссякли деньги, нужно возвращаться в обыденный мир, столь далекий от того, что он пережил в этом сказочном городе: ранние утра где-нибудь в Скутари, где тишину нарушали лишь соловьи, дни в Стамбуле, уже почти мертвом. Там, выходя к Мраморному морю, он иногда подолгу стоял, — оно порой делалось от игры волн на солнце подлинно мраморным. Несказанно прелестны были лунные ночи, когда бывало грустно-приятно от своей отчужденности от всего мира и от всего пережитого. Вспоминал с болью в сердце своего Колю и родную семью, которая никогда не увидит, не почувствует того, что ему посчастливилось пережить. Поэтичны были и темные звездные ночи, полные разноцветных фонариков на судах всех наций, стоявших на Босфоре.

Трогал его обычай, что с минарета несется молитва о тех, кто в эту ночь страдает бессонницей.

Позднее он написал стихи:

Т Э М Д Ж И Д

Он не спит, не дремлет.

Коран.

*В тихом старом городе Скутари,
Каждый раз, как только надлежит
Быть середине ночи, — раздается
Грустный и задумчивый Тэмджид.*

*На середине между ранним утром
И вечерним сумраком, встают
Дервиши Джелвети и на башне
Древний гимн, святой Тэмджид поют,*

*Спят сады и спят гробницы в полночь,
Спит Скутари. Все, что спит, молчит.
Но под звездным небом, с башни
Не для спящих этот гимн звучит:*

*Есть глаза, чей скорбный взгляд с тревогой,
С тайной мукой в сумрак устремлен,
Есть уста, что страстно и напрасно
Призывают благодатный сон.*

*Тяжела, темна стезя земная,
Но зачтется в небе каждый вздох:
Спите, спите! Он не спит, не дремлет
Он вас помнит, милосердный Бог.*

Этот обычай восхищал Ивана Алексеевича, и он часто вспоминал о нем в свои бессонные ночи в последние годы своей жизни.

На возвратном пути он был полон впечатлениями и даже мало уделил внимания паровой жизни, которую впоследствии изучил во всех тонкостях.

6

В Одессе он пробыл несколько дней у Куровских, повидал сына, может быть, на берегу моря, об этом он написал пронзительные стихи, которые не напечатал, посидел в ресторане с Нилусом и укатил в Москву, где тоже пробыл недолго.

Повидался с Телешовыми и Карзинкиным, много повествовал о своем пребывании на Босфоре, уговаривал «Митрича» посетить те края, зная отлично, что тот никогда не соберется. Вообще, как это ни странно, русские люди мало путешествовали по Ближнему Востоку. В Святой Земле бывали только паломники, духовные лица. Отправлялись туда и магометане из Ташкента, с Кавказа и других мест; совершали паломничество и евреи, большею частью из Польши. Интеллигенция же не решалась на такое путешествие — только разве ученые, — не отдавая себе отчета, до чего все хорошо было организовано и для плавания, и для пребывания в Палестине. Удивительное невежество и отсутствие интереса к тому, что выходило из рамок шаблона.

В середине мая приехал в Москву Чехов. Иван Алексеевич заходил к нему, делился своими впечатлениями, особенно приятно было вести на эту тему разговор потому, что Антон Павлович из московских знакомых его был единственный, который побывал в Константинополе, хотя Востоком не увлекся.

В конце мая Иван Алексеевич направился в Огнёвку, где коротали свои дни отец и Евгений Алексеевич с женой.

Отец, сильно состарившийся, — ему шел восьмидесятый год, — был всё-же по-прежнему бодр и остроумен. Он никогда не жаловался, хотя жизнь его была тяжелая. Обстановка была убогая, питание более чем скромное, так как хозяева, как одержимые, старались копить деньги, под старость пожить по-человечески... На руки денег отцу давать было невозможно: сейчас же появлялась водка...

Алексей Николаевич с неизменным интересом слушал рассказы младшего сына о Константинополе, о турецких обычаях. Удивляло его, что за проход по мосту взимали плату; очень его забавляли верблюды, идущие по ступеням лестницы, и собаки, которых никто не смел обидеть, — их встречали на каждом шагу и смиренно обходили. Слушал с упоением о красоте Босфора, Скутари, Стамбула, жалел, что Ая-София в руках неверных; на него произвел впечатление рассказ, что ежегодно выступает там на стене лик Спасителя, и ежегодно турки его замазывают. Восхищали голуби в куполе, размеры храма. Ивану Алексеевичу было всего приятнее рассказывать отцу — он при своем воображении всё ярко представлял.

Набросился отец и на книги, привезенные сыном, — все свои досуги начал отдавать чтению. Маленьких рассказов не терпел: «Увидишь птицу, нацелишься, а она уже улетела, вот и вся недолга!»

Иногда Иван Алексеевич читал вслух. Однажды он взял новое произведение Горького, сказав, что это только что написанный рассказ Толстого. Вдруг брат Евгений прерывает его и говорит:

— Нет, это Горький писать...

Удивительно одаренный был человек и читал мало, а сразу схватывал стиль писателя.

Понемногу Иван Алексеевич втянулся в занятия. Но о путевых впечатлениях еще не мог писать, принялся за отделку перевода «Манфреда», который надеялся устроить в «Знании», и такая размеренная жизнь протекала до приезда матери и Маши с двумя детьми. Маша сразу внесла оживление и беспорядок, и заниматься стало трудно, мешал старший сын её, забегая ежеминутно к дяде, а он писал стихи.

Прозу писать опять стало трудно, — за весь 1902 год он написал только «Надежду», а за 1903 — два рассказа, объединенные под заглавием «Чернозем»: «Золотое дно» и «Сны», (мне неизвестно, где он писал эти рассказы, в деревне или в Москве, для первого сборника «Знание» под редакцией Горького). Стихов же за 1903 год написано много, и они вошли в 3-ий том его сочинений в издании «Знание», вышедший в 1906 году.

Чувствуя, что в Огнёвке ему писать трудно, он дождался Юлия, приехавшего из-за границы и после отъезда того в Москву, решил перекочевать в Васильевское.

Там было жить приятно: большая угловая комната с тремя окнами на запад и юг. Тишина, здоровый стол, племянники. С двумя старшими ему было приятно делить свое свободное время.

Кроме «Манфреда», он там писал стихи, а среди них — «Канун Купавы», «Обрыв Яйлу», «Норд-остом жгут пылающие зори», «На окне, серебряном от инея», «Жена Азиса», «Северная береза», «В сумраке утра проносится призрак Одина», «Мы встретились случайно на углу», «Проснулся я внезапно без причины», «Ковсерь», «Старик у хаты веял, подкидывал лопату», «Звезды горят над безлюдной землей», «Ночь Аль-Кафра», «Далеко на севере Капелла», «Уж подсыхает хмель на тыне».

Осталась запись тех дней:

«Проснувшись, открыл окно в сад, щурясь от утреннего низкого солнца. В свежем воздухе пахло горькой сладостью осеннего утра. На поляне перед окнами слепило таким ярким и теплым светом, что похоже было на лето. Только солнечное тепло было смешано с этой пахучей горькой свежестью, с запахом покрытых крупной росой опавших листьев и солнечный свет был слегка розовый, а вдали, в тени старых деревьев, уже багряных, желтых и оранжевых, стоял тончайший лазурный дым легкого ночного тумана».

«Поздними вечерами лежали на ометах новой соломы. Очень свежо, но тонешь в теплоте этой новой соломы. Темно, но вверху огненная жизнь бездны звездного неба и в разные стороны летящие зеленые полосы падающих звезд».

«Осень, осень! Уже летают паутины на жнивьях, ярки кустящиеся зелена».

Вечера золотистые, потом ярко красные. Небо над закатом темно-синее, ниже вогнутое, прозрачно-сиреневое. Бледность жнивья.

Черные липы сада, загораживающие восходящую за садом зеленую луну.

Неяркие звезды на смутном южном небосклоне».

После десятого сентября начались разговоры о отъезде. Младший племянник Петя был уже в Орле, — он еще учился в гимназии, к нему на всю зиму должна была переехать мать. Коля оставался в деревне, — решил с бабушкой и дядей зимовать в Каменке. Митюшка с Иваном Алексеевичем должны были ехать в Москву.

На этот раз Иван Алексеевич остановился в мебелированных комнатах Гунст, в Нащокинском переулке, рядом с особняком Лопатиных, где он некогда проводил почти все свои досуги.

Телешовы еще жили на даче в Малаховке, которая наполовину принадлежала им. На берегу озера у них был высокий двухэтажный дом в скандинавском стиле.

Погода была хорошая, и Елена Андреевна пригласила Ивана Алексеевича погостить у них. Он, было, согласился, но после первой же ночи, проведенной на даче, рано утром уехал, не повидавшись с хозяевами. Это один из его непонятных поступков. Иван Алексеевич мне объяснял, что комната была ему не по душе, он чувствовал, что в ней он будет не в состоянии писать. Как объяснить это? И от смущения, не зная, что ему делать, он сбежал...

Елена Андреевна с большим недоумением мне рассказывала об этом. Я тоже не решилась объяснить ей причину.

Этой осенью жил в Москве и Найденов. Бунин с ним еще больше сблизился. Найденов нравился и Чехову. Он говорил, что Найденов может написать еще несколько неудачных пьес, а затем напишет опять превосходную, так как он считал его единственным настоящим драматургом из живых авторов.

Сутулый, выше среднего роста, в криво висящим пенсне, немного неуклюжий, с крупной головой, волнистыми темными волосами, застенчивый, Найденов производил сразу приятное впечатление.

На людях он был сдержан, замкнут, по-купечески недоверчив, но натура у него была страстная, склонная к размаху, даже безумствам... В денежных делах он был очень щепетилен.

В его жизни случилось то, что народ называет «по щучьему веленью»: больше пятидесяти лет тому назад в Москве жил никому неизвестный Сергей Александрович Алексеев и жил очень дурно, — служил приказчиком в маленьком магазине готового платья где-то на Тверской, а в одно ненастное утро, по дороге на службу, развернул газету, и в глаза ему так и ударило: «Грибоедовская премия Литературно-Художественного театра присуждена за «Детей Ванюшина» Найденову».

Остановился, прочитал несколько раз и, немного придя в себя, повернул домой, а в магазин готового платья так больше и не заглядывал — махнул рукой и на причитавшееся ему жалованье. На следующий день — Петербург, и тоже, как в сказке «Конёк-Горбунок»: нырнув в литературно-драматический котел приказчиком из магазина готового платья Алексеевым, он сразу превратился в премированного драматурга Найденова.

Легко представить себе, что затем было: и просьбы театральных директоров о пьесе, авансы, мир кулис, актеры, актрисы, поклонники, писательский круг, лесть, почет, аплодисменты, деньги...

Как известно, в то время в России особенными любимцами пуб-

лики были писатели. И так как баловать своих кумиров она умела не только со всей ширью славянской души, но и с истеричностью, то редко у кого из достигших в то время «славы», не закружилась голова.

У Найденова голова не закружилась, хотя успех был прочный — вся Россия ставила его пьесу. Я думаю, что все, бывавшие в театрах, пересмотрели «Детей Ванюшина». Много пьеса эта вызывала разговоров, споров, рефератов...

Найденов, по рассказам Ивана Алексеевича, ненавидел рекламу, презирая всю нарочитую шумиху, которая создавалась в ту пору почти вокруг каждой знаменитости (и, конечно, не без благосклонного разрешения её самой). Ему это было органически противно и вовсе не потому, что он был лишен честолюбия, — а потому, что он не переносил всего, что не было действительно прочно и достойно. И это особенно влекло к нему Ивана Алексеевича, который тоже во всём любил настоящее, а не дутое.

Никогда Найденов не наряжался ни в поддёвку, ни в сапоги.

В молодости он был неудержим. Получив от отца небольшое наследство, он на Волге так загулял, что сразу остался нищим, и ему пришлось тяжким трудом зарабатывать кусок хлеба, так он и докатился до приказчика в магазине готового платья.

Жизнь Ивана Алексеевича в Москве протекала обычно: чаепитие у Юлия Алексеевича, прогулки с ним, если не надо куда-нибудь ехать, «Среды» у Телешовых, интимные обеды у них, у Чеховых, у Граф (жена его — в девичестве Ключкова, дочь богатого воронежского городского головы; он чуть тронул ее в «Чистом понедельник», взята — её квартира), вечера в Кружке или на журфиксах у Рыбаковых...

Раза два за осень Иван Алексеевич ездил в Петербург. Побывал в редакции «Мир Божий», где хозяином был уже Куприн, у которого начала кружиться голова от славы, на что ему жаловалась умная, всё понимающая Марья Карловна. Говорила, что хочет увезти мужа в Балаклаву, — сабутыльники губят его, льстят и приносят ему большой вред, и что в Петербурге ему трудно работать. Жаловалась она и на его ревность и дикие выходки. И, правда, раз в присутствии Бунина и других гостей, Куприн, увидав, что жена вышла в легком черном газовом платье, которое ей шло, взял и поджег его спичкой снизу, — едва удалось потушить, закидав огонь подушками с дивана. В другой раз, — не помню уже в этом ли году или в другом, — Куприн, войдя в столовую, где был накрыт обеденный стол на двенадцать персон, на что-то рассердившись, схватил за угол скатерть, и все зазвенело, разбилось — и тонкое стекло, и дорогой обеденный сервиз. Конечно, оба раза он был во хмелю.

Обедал Иван Алексеевич и у Ростовцевых, которые повенчались в 1900 году. Жили они на Морской. После обеда они всегда просили его почитать стихи, и он иногда читал написанные летом, не появившиеся еще в печати. Лето было урожайное, он написал тридцать три стихотворения. Особенно имело успех «Одиночество», посвященное художнику Нилусу. Многие строчки запомнились и часто повторялись, особенно «Что ж, камин затоплю, буду пить... Хорошо бы собаку купить». Нравилась и «Канун Купавы», и «Портрет», и «Надпись на чаше» и «Могила поэта»...

Начал Иван Алексеевич бывать и в доме профессора и академика Нестора Александровича Котляревского, жена которого, Вера Васильевна, красивая, обаятельная дама была артисткой Александринского театра. Они быстро стали друзьями и ценителями Бунина.

В Петербурге Иван Алексеевич собрал деньги и стал подумывать о поездке за-границу.

Вернувшись в Москву, он начал уговаривать Найденова поехать вместе на юг Франции и на север Италии. Подумав, тот согласился, хотя и не преминул выругать Запад.

В декабре в Москву приехал Чехов, и Иван Алексеевич бывал у него каждый вечер, просиживал «далеко за полночь». В эти ночные бдения они особенно сблизились. Чехов рассказывал ему о своих братьях, Иван Алексеевич кое-что тоже поведал ему из хроники своей семьи. Антону Павловичу, вероятно, было тяжело, что он болен и лишен возможности принимать участие в развлечениях жены, но никогда об этом он даже не намекнул. А она в ту зиму жила полной жизнью, домой возвращалась поздно.

Шли репетиции «Вишневого сада», Чехов жаловался, что режиссеры делают из его комедии драму, что многое, что там написано, совершенно не подходит к драме, и всё повторял: «Уверю вас, ни Алексеев, ни Немирович толком не прочли пьесы, а ставят то, что им самим хочется, уверю вас, актеры отстали в развитии на целых семьдесят пять лет...»

Среди беспорядочной жизни Иван Алексеевич закончил два рассказа «Сны» и «Золотое дно» и, озаглавив их «Чернозем», передал для первого сборника «Знание». Получив за них аванс и прибавив его к тому, что собрал в Петербурге, уехал с Найденовым 24 декабря за-границу.

Это было его любимое — быть под великие праздники в пути... Он не был на Ривьере, не знал Италии.

7

С ними до Варшавы ехала Макс-Ли, журналистка, романистка, дружившая с обоими писателями, особенно с Буниным. Он кое-что взял от неё в «Генрихе».

Найденов к западной культуре был враждебен. Его всё раздражало, казалось искусственным, тесным, продажным. Жизнь чужой страны он не интересовался, иностранных языков не знал и не хотел даже заучить самые необходимые фразы.

Порою был мрачен, на что-то сердился, порой мил, рассказывал о своих волжских кутежах, когда он прокучивал отцовское наследство. Признавался, что в «Детях Ванюшина» есть кое-что автобиографическое. Много пил. Они проехали Вену, Земмеринг, остановились в Ницце. Иногда в горах его раздражал какой-нибудь высоко стоящий замок, и он восклицал:

— Вот бы его к чорту!...

В Ницце они выбрали отель «Континенталь».

Там «Бунин и Бабурин», ссорились из-за того, что Бабурии не хотел гулять, осматривать город, Он любил сидеть перед камином и тянуть коньяк. Он выучил единственную фразу: «анкор коньяк».

Но все же они кое-что осмотрели: были в Каннах, Монте-Карло, где Бунин проиграл 200 франков, проиграл какую-то сумму и Бабурин, но игрой ни тот, ни другой не увлеклись.

Кто-то познакомил их с семьей богатого харьковского помещика Гладкого, у которого была вилла в Ницце и автомобиль. Они пригласили писателей поехать в Больё, к Максиму Максимовичу Ковалевскому, где чуть не погибли: сели на возвратном пути в машину, стоявшую задом к морю, шофер, позабывши об этом, стал заводить ручной мотор, и вдруг автомобиль пошел задом... К счастью, шофер успел вскочить и затормозить.

Иван Алексеевич поздравил Антона Павловича с Новым Годом и сообщил свой адрес, и Чехов быстро ответил ему очень ласковым и даже лирическим письмом, что очень тронуло Бунина.

Из Ниццы они поехали во Флоренцию, потом в Венецию, остановились в гостинице возле площади Святого Марка.

И Флоренция, и Венеция с её дворцами, Св. Марком, с её бесшумными гондолами и красавцами гондольерами оставили глубокий след в душе Бунина, хотя вполне уйти в итальянский мир ему мешал «Бабурин» со своим отталкиванием от всего, что нерусское. Иногда они ссорились, упрекали друг друга в эгоизме, но это не нарушало их дружеских отношений.

Из Венеции они «выехали с экспрессом в Москву. Туда приехали в морозный день перед вечером». Остановились в Лоскутной и, не раскладывая чемоданов, полетели в «Прагу», где прежде всего Найденов потребовал всего, чего был лишен за-границей — черного хлеба, икры, водки и заказал селянку из осетрины. Иван Алексеевич, как почти всегда, заказал рябчика, который по его вкусу приготавливали в «Праге», красного хорошего вина, но и от икры, и от черного хлеба не отказался.

И вот, вернувшиеся россияне, в радости, что они дома, что в «Праге» слушают Гулеско, играющего на цитре, среди блеска и родного говора увидели высокую дородную фигуру с седой длинной бородой, Дмитрия Ивановича Тихомирова, известного педагога. Он уже уходил из ресторана и, минуя их, воскликнул:

— Кто-же, господа, ест икру с черным хлебом?...

Они пригласили его присесть и объяснили, что вернулись час назад из-за границы... А потому и накинулись и на икру, и на черный хлеб... Бабурин стал бранить Запад, уверять, что там всё невкусно и женщин нет таких, как в России, и в Ницце, даже в богатых виллах, холодно так же, как и в Италии. И нигде нет простора, как на Волге. Бунин посмеивался и защищал Запад. Тихомиров держал нейтралитет. Он едва ли много путешествовал, тоже любил Москву с её редакциями, журфиксами, юбилеями, ресторанами, любил и Алушту, где у него было поместье, и в заморские страны его не тянуло.

Побывал Иван Алексеевич на «Вишневом саду», где его многое удивило, — он до поездки был на репетициях отдельных актов и в целом пьесы не видел. Многие ему не понравились, но он скрыл свое впечатление, боясь, чтобы это не дошло до Антона Павловича. Слушал рассказы о первом представлении, о чествовании Чехова, о некоторых бестактностях. Воображал, что должен был чувствовать в этот юбилейный вечер виновник торжества.

11 февраля он отправился на «Среду», где впервые после возвра-

щения встретился с Чеховым, который приехал с Ольгой Леонардовной и вошел под руку с ней в столовую, когда уже чтение было окончено, и все сидели за ужином. Конечно, их усадили на самое почетное место, хозяйева были счастливы, как и вся «Среда».

Иван Алексеевич поразился, как за шесть недель их разлуки Антон Павлович подался. Он почти ничего не ел, кроме ложечки икры, выпил глоток чудесного французского белого вина из погреба А. А. Карзинкина. Почти всё время молчал, только ласково улыбался откидывая прядь волос со лба. Оживление, какое всегда бывало за этими дружескими ужинами, упало, все увидели, что ему стало хуже за этот месяц. Он сообщил, что на-днях уезжает в Ялту. Пробыли Чеховы недолго. После их отъезда всем стало тяжело, хотя, конечно, никому и в голову не приходило, что через пять месяцев его не станет.

Ивану Алексеевичу нужно было съездить в Петербург: взять остаток гонорара за «Чернозем», продать оставшиеся в портфеле стихи, написанные за 1903 год, получить за книжку для народа, изданную «Знанием». Надеялся он и на аванс в некоторых журналах. Перед отъездом поехал к Чехову, но у него был недолго. Узнал, что они решили переменить квартиру, искать её с лифтом, так как отдышка у Антона Павловича усилилась и подниматься ему на третий этаж большая мука.

В Петербурге Куприных не было, они уехали в Балаклаву. Иван Алексеевич обедал у Ростовцевых, узнал, что Александр Иванович пьет, иногда у него происходят скандалы с кем попало... Очень жалели, так как Куприн писал все лучше и лучше.

На лето Иван Алексеевич поехал в Огнёвку, чтобы пожить с матерью и Ласкаржевскими. У Маши было уже трое детей, родилась девочка, назвали в честь бабушки Людмилой. Там Иван Алексеевич писал стихи на восточные темы, перечитывал Коран, просматривал и перевод «Манфреда», писал и на русские темы.

Доктора послали Чехова в Германию на курорт Баденвейлер. Он с Иваном Алексеевичем изредка переписывался. Последнее известие было успокоительное: Антон Павлович заказал себе белый костюм, так как во всей Европе наступила нестерпимая жара.

В начале июля Бунин поехал на почту в Лукьяново. Заехал к кузнецу, чтобы перековать лошадь, сел на порог кузни и развернул газету: «и вдруг точно бритва полоснула мне по сердцу...»

Домой вернулся поздно. Ездил по вечерней заре среди хлебов, уже начинавших золотиться и плакал, плакал... Конечно, писать он бросил.

Действительно, потеря для него была большая. Единственный из писателей, Чехов по-настоящему был с ним близок, любил его и ценил; Иван Алексеевич чувствовал это, и сам питал к нему восхищенную любовь.

Вскоре вернулся Юлий Алексеевич из своей заграничной поездки, а из Васильевского приехал погостить старший брат Пушешников. Видя, что Иван Алексеевич в тяжелом душевном состоянии, не может писать и куда-то рвется, решили недели на три поехать на Кавказ, где никто из них не был. Уговорили и мать Митюшки дать ему денег на поездку.

Подробный маршрут мне неизвестен. Вообще Иван Алексеевич мало мне рассказывал о Кавказе. Думаю потому, что был в тоске и печали. Я нашла только одну коротенькую запись об этой поездке. Как всегда, красота природы, всё же спасала его в горе.

«Раннее, но уже жаркое солнце, расходящийся свежий, душистый, светлый туман в горных лесах, радующая душу блестящая белизна снеговых вершин за лесистыми горами над их зеленью...

Кавказ, молодость, молодые утренние снега. Весь мир, вся жизнь — счастье».

Знаю только, что они проехали по Военно-Грузинской дороге, а возвращались морем из Батума.

Вернувшись в деревню, он осел у Пушешниковых. Вскоре после его возвращения пришло письмо из «Знания»: писатели затеяли сборник памяти Чехова. Он принялся писать воспоминания о Антоне Павловиче, но не дописал, поехал в Москву, где и окончил. Читал их осенью в «Обществе Любителей Российской Словесности».

Перед смертью ему попала эта книга «Сборник памяти Чехова». Он прочел первую свою редакцию воспоминаний и написал на книге:

«Написано сгоряча, плохо и кое-где совсем неверно, благодаря Марье Павловне, давшей мне, по мещанской стыдливости, это неверное. И. Б.».

Перечитал и весь сборник. На первом месте стоят стихи Скитальца. Иван Алексеевич руками развел, перечитав их: «Как же Горький мог напечатать подобные вирши?... — восклицал он, — ума не приложу!...»

Вот некоторые строфы:

ПАМЯТИ ЧЕХОВА

*Неумолимый рок унес его в могилу.
Болезнь тяжелая туда его свела.
Она была в груди и всюду с ним ходила:
Вся жизнь страны родной — болезнь его была.*

И еще четыре подобных строфы, а в шестой, особенно смешившей Ивана Алексеевича, было:

*И поздно понятый, судимый так напрасно,
Он умер от того, что слишком жизнь бедна,
Что люди на земле и грубы и несчастны,
Что стонет под ярмом родная сторона.*

Хороша и восьмая:

*О, родина моя, ты вознесешь моленья
И тень прекрасную благословишь, любя,
Но прокляни же ты проклятием презренья
Бездушных торгашей, что продают тебя!*

В девятой:

*Пусть смерть его падет на гадов дряхлой злобы,
Чьи руки черствые обагрены в крови,
Кто добивал его, а после был у гроба
И громче всех кричал о дружбе и любви!*

— Не понимаю, — повторял Иван Алексеевич, — как Горький допустил это стихотворение? Или, может быть, это было сделано без его ведома? Хотя, как могли без него поставить на первое место?... Это пошлее устричного вагона... Впрочем, может быть, потому гроб поставили в устричный вагон, что там был холодильник?... Забыли только снять надпись...

Под стихами Скитальца стоит краткая, но сильная оценка Ивана Алексеевича этого виршеплёта.

Смерть Чехова потрясла всех, кто имел отношение к литературе, и его читателей. Жалели его, как больного: понимали его тоску в одинокие зимние вечера в опустевшей Ялте, когда ему так хотелось быть с женой в Москве, где ставились его пьесы, имевшие шумный успех.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

В Москве Иван Алексеевич часто заходил к осиротевшим Чеховым, которые ему бывали рады, зная, как относился к нему покойный.

Потом он отправился в Петербург, распродал всё написанное им за весну и лето, отвез свои воспоминания о Чехове в «Знание» для «Чеховского сборника», попытался выпустить в этом издательстве «Манфреда», но попытка эта не увенчалась успехом.

Вернувшись в Москву, он жил под гнетом смерти Антона Павловича, бывал часто у Ольги Леонардовны и у Марьи Павловны, ходил в Художественный театр, где тоже все были в большом горе.

26 ноября он выехал в Одессу и по дороге остановился на сутки в Киеве, чтобы повидаться с Найденовым, который ставил там свою пьесу.

В Одессе он опять жил у Куровских. Видал сына, которому шёл пятый год, мальчик был очень милый, не по летам развитой, всякое свидание с ним раздирало сердце. С женой он не встречался. Всё было ему здесь тяжело, и он быстро уехал.

Через Москву он проехал в Васильевское, где отдохнувши, стал писать, и писание его успокоило. 1904 годом помечено 17 стихотворений и рассказ «Счастье» (переименованный потом в «Заря всю ночь»).

Начало этого рассказа с описанием дождя восхитило Л. Н. Толстого. Не помню, в чьих воспоминаниях мы читали, что он сказал: «Ни я, ни Тургенев не написали бы так дождь...»

Конец года, как и начало января, он пробыл в Васильевском, деля время между писанием, чтением текущей литературы, любимых классиков, Корана, Библии и незатейливыми деревенскими развлечениями — сначала только с Колей, который, узнав, что Иван Алексеевич у них, вернулся домой из Каменки. К Рождеству приехал из Москвы и Митюшка, затем прогостила с неделю на Святках Лида Рышкова, крестница Софьи Николаевны, превратившаяся в красивую девушку, она внесла женское оживление: стали гадать, играли в снежки во время вечерних прогулок, чаще ездили кататься на розвальнях днем, когда снег так чудесно отливает всеми цветами на солнце.

Иван Алексеевич стал уговаривать Колю ехать в Москву учиться пению, — у него был необыкновенной красоты баритон, — но мать,

приехавшая из Орла, его не отпустила, боясь, что зимой в чужой обстановке, он в шестой раз заболеет воспалением легких. И на семейном совете было решено, что он поедет в Москву следующей осенью, когда еще стоит хорошая погода.

Новый Год встретили по-деревенски с гостями, пришла местная интеллигенция: Лозинские с тремя дочками, винокур с супругой, монопольщик с женой, сыновья дьякона.

Молодежь гадала, спорила на литературные темы, строила планы о будущем. Старшие засели за рамс. Иван Алексеевич несколько раз заглядывал в парадные комнаты, бросал острые взгляды на желавшую выбиться в люди молодежь. Он знал, что барышни Лозинские хотят держать экзамены за курс прогимназии, чтобы стать сельскими учительницами, сыновья дьякона уходят из духовного сословия. (Старший уже медик, а другой мечтает поступить в Педагогический Институт в Москве).

К ужину Иван Алексеевич вышел. Было оживленно, пили цимлянское, и никто не подозревал, какой удар нанесет ему наступивший январь.

После Святков он получил известие сначала о болезни, а потом и о смерти своего Коли, скончавшегося «после скарлатины и кори от сердца».

Когда Ивана Алексеевича не было в живых, Софья Юльевна Прегель принесла мне выписку из книги «Жизнь и Любовь Сцены» Юрия Морфесси. Иван Алексеевич знал его, когда Морфесси было всего 16 лет. «Он был хорошеньким мальчиком, очень музыкальным, с прекрасным голосом, был своим человеком в семье Цакни, — рассказывал мне Иван Алексеевич, — принимал участие в опере «Жизнь за царя». В Париже они встречались на разных благотворительных вечерах и всегда вспоминали Одессу.

В книге Морфесси написано:

«Вспоминаю мою первую встречу с тогда только вошедшим в славу поэтом-писателем И. А. Буниным. Он был мил и изящен. Познакомился с ним в семье издателя «Южного Обозрения» — Н. П. Цакни. На его дочери женат был Бунин. Очаровательным ребенком был сын Бунина, пяти лет, говоривший стихами. Увы, этот феноменальный мальчик угас на моих руках, безжалостно сраженный менингитом».

Ни о менингите, ни о том, что Коля говорил стихами Иван Алексеевич не рассказывал. Жаловался, что порой семья Цакни препятствовала его свиданиям с сыном, вспоминал, что иногда он находил его на берегу моря. У него были, — как я писала, — стихи на эту тему, очень пронзительные, но нигде не напечатанные. Раз он прочитал их мне...

Писание после смерти сына было заброшено, оставаться в Васильевском у Ивана Алексеевича не было сил. Софья Николаевна дала лошадей, и он с Колей отправился в Огнёвку. Отец лучше других умел успокаивать своего любимого сына, и он потянулся к нему. Матери там не было, она теперь постоянно жила с Машей, привязываясь все больше к старшему внуку, Жене.

Промучившись некоторое время в деревне, Иван Алексеевич бросился в Москву к Юлию Алексеевичу, с которым всегда делил свои печали и радости. В этот приезд он с ним почти не расставался.

В горе Иван Алексеевич был скрытен, но предпочитал быть на людях. Одиночество ему было непереносимо.

Вскоре после смерти сына Ивана Алексеевича рассказывала мне в Москве Вера Алексеевна Зайцева: «На-днях встретила Бунина на улице, была поражена его видом, — у него умер сын, вот скрутило его горе! Ты и представить не можешь, как он изменился!...» И мне тогда стало несказанно жаль его, хотя в ту пору я с ним не встречалась. Вспомнила его в Царицыне, когда маму и меня познакомила с ним Екатерина Михайловна Лопатина.

2

В Москве вся левая часть интеллигенции была потрясена событиями 9-го января. И на журфиксах, которые продолжали еще быть в моде, и на званых обедах, и на вечерах только и была речь о Гапоне. Продавались его фотографические карточки. Из редакций «Русских Ведомостей» шли известия, которые не могли попасть в печать. Приезжие из Петербурга рассказывали то, что нельзя было предавать гласности. В высших учебных заведениях, даже в старших классах средней школы только и было слышно: «Гапон, расстрелы безоружных рабочих» и т. д. Рассказывали о замечательном слове священника Григория Петрова на похоронах убитого на улице студента Политехнического Института, обращенное к его сраженной горем матери, которая после этого как-то смиренно успокоилась.

Иван Алексеевич не мог усидеть в Москве, кинулся в Петербург, — Юлий Алексеевич, зная натуру брата, настаивал в свою очередь, чтобы тот поехал и узнал всё на месте из первых рук.

В Петербурге все люди его круга были возбуждены. Он повидался с друзьями: с Куприными, Елпатьевскими, Ростовцевыми, Котляревскими, заглянул во все редакции, с которыми был связан, в «Знание», отправился и на заседание «Вольно-экономического Общества», где произносились смелые речи.

Северная столица отвлекла его, но рана не заживала, да и зажила ли она когда-нибудь? В последние месяцы его жизни, когда он почти не вставал с постели, у него на пледе всегда лежал последний портрет живого сына... В чем-то Иван Алексеевич был скрытен. Жаловался на Цакни, что у них «двери на петлях не держались», и скарлатину занес кто-нибудь из гостей... Обвинял Анну Николаевну, что она не захотела уехать из родительского дома, где он не мог писать от вечной сутолки... Хотя последнее время он говорил о ней с нежностью, вероятно, потому, что она была матерью его сына.

В марте он вернулся в Москву, остановился опять в тихих меблированных комнатах Гунст, в тихом Хрущевском переулке, бывал у Юлия, у Телешовых, но уже меньше вносил оживления, присущего ему.

Он получил портреты Коли на столе и в гробу, окруженного цветами и игрушками — были среди них и его подарки. Эти фотографии разорвали ему сердце, но они с ним были до последних его дней.

Весной опять в Васильевском, где он проводил досуги с Колей, который с увлечением изучал астрономию, хорошо разбираясь в

звездном небе. Он делился своими познаниями с Иваном Алексеевичем, уже оценившим некоторые дарования своего двоюродного племянника. Они привязывались друг к другу. Несмотря на чудесный голос Коли, Иван Алексеевич почувствовал, что певца, особенно оперного, из него не выйдет. Он начал уговаривать его изучать языки. В случае, если из пения проку не будет, он может стать переводчиком. Коля тонко чувствовал художественную литературу, умел схватывать главное в ней. Не выносил фальши. Был влюблен в Толстого и Флобера, всё это очень их сближало и, хотя Иван Алексеевич подтрунивал над ним, над его нелепостями и застенчивостью, но любил его.

3

В конце июня Иван Алексеевич получил письмо из Огнёвки, что заболела мать. Он мгновенно собрался и уехал.

Всех он нашел в большой тревоге: мать на холодной заре вымылась в сенцах и схватила, повидимому, воспаление легких, температура высокая. Младший сын чуть с ума не сошел, — ведь со дня смерти маленькой сестры, он был в вечном страхе за жизнь матери, — тут она жила в глуши, без хорошего врача, с её астмой и ненадежным сердцем... Решили пригласить земского елецкого врача Виганда, замечательного диагноста и целителя, человека высокого роста с обветренным красным лицом.

Стояла рабочая пора. Евгений Алексеевич лошади не дал. Пришлось за дорогую цену Ивану Алексеевичу нанять лошадь в деревне у Якова, мужика скупого и хозяйственного. «Выехали ранним утром, когда особенно хорошо в погожие июльские дни бывает только в средней полосе России, в подстепье. Ехать нужно было двадцать пять верст. Яков всё время соскакивал с облучка телеги и шел рядом. Я не знал, что делать, боялся не застать Виганда дома...» — вспоминал об этой поездке Иван Алексеевич незадолго до своей кончины. Ему было тяжело, — он был суеверен, за год третье испытание, — две смерти он пережил.

К счастью, он застал доктора дома, и тот согласился приехать. К общей радости, Людмила Александровна, с помощью редкого врача и благодаря своему сильному организму, начала поправляться.

Из заграничной поездки вернулся и Юлий Алексеевич. Младшему сыну стало легче, и он принялся за писание, прерванное известием о болезни матери.

Это полугодие дало хороший урожай: более тридцати стихов помечены 1905 годом. Среди них «Сапсан», и «Русская весна» (написаны до известия о смерти сына).

Затем наступило молчание и только весной он снова стал писать стихи. Среди них «Новая весна», «Ольха», «Олень», «Эльбрус» (иранский миф), «Послушник» (грузинская песнь), «Хая-Баш» (мертвая голова) «Тэмджид» (с эпитафией из Корана) «Тайна» (с эпитафией из Корана), «Потом» (халдейский миф), «С остройгой», «Мистику», «Стамбул».

Видно, что он пристально читал Библию и изучал Коран, вспоминал прошлогоднее путешествие по Кавказу и, конечно, пребывание в Константинополе «незабвенной весной 1903 года».

«В 1905 году, с конца сентября и до 18 октября, — писал Иван Алексеевич, — я в последний раз гостил в опустевшем, бесконечно грустном ялтинском доме Чехова, жил с Марьей Павловной и «мамашей», Евгенией Яковлевной. Дни стояли серенькие, сонные, жизнь наша шла ровно, однообразно и очень нелегко для меня: всё вокруг, — и в саду, и в доме, и в его кабинете — было как при нем, а его уже не было! Но нелегко было и решиться уехать, прервать эту жизнь. Слишком жаль было оставлять в полном одиночестве этих двух женщин, несчастных сугубо в силу чеховской выдержки, душевной скрытности; часто я видел их слезы, но безмолвно, тотчас преодолеваемые; единственное, что они позволяли себе, были просьбы ко мне побыть с ними подольше: «Помните, как Антоша любил, когда вы бывали или гостили у нас!» Да и мне самому было трудно покинуть этот уже ставший чуть ли не родным для меня дом, — а я уже чувствовал, что больше никогда не вернусь в него, — этот кабинет, где особенно в сё осталось, как было при нем: его письменный стол со множеством всяких безделушек, купленных им по пути с Сахалина в Коломбо, безделушек милых, изящных, но всегда дививших меня, — я бы строки не мог написать среди них, — его узенькая, белая, опрятная, как у девушки, спальня, в которую всегда отворена была дверь из кабинета. А в кабинете, в нише с диваном (сзади кресла перед письменным столом), в которой он любил сидеть, когда что-нибудь читал, лежало «Воскресенье» Толстого, и я все вспоминал, как он ездил к Толстому, когда Толстой лежал больной в Крыму, на даче Паниной.»

Осталась краткая запись Ивана Алексеевича:

«Маленькая Ялта, розы, кипарисы... Кофейня на сваях возле набережной, мои утра там. Купальщицы — не в костюмах, а в рубашках, вздувающихся на воде».

Так грустно и тихо текла жизнь до 17 октября, когда зазвонил телефон и раздался взволнованный голос приятельницы Чеховых Софьи Павловны Бонье, страстной поклонницы всех писателей. Она, сама себя перебивая, сообщала, что в России революция, что поезда не ходят и т.д. и т.д.

Иван Алексеевич сбежал в город, там тоже узнал приблизительно то, что рассказывала Бонье. Его охватил страх застрять в Ялте. Он кинулся на пристань, и в порту узнал, что на следующее утро отходит в Одессу пароход «Ксения». Вернувшись, он сообщил Чеховым о своем отъезде, но они его уже не задерживали, понимая, что ему будет спокойно жить вдаль от родных. Ночь он почти не спал, встал ни свет, ни заря, быстро наполнил кофию и, «чуть не плача», распростился с Марьей Павловной и «мамашей» и к отходу парохода был на месте.

Привожу дневник Бунина этих дней:

«Ксения» 18 октября 1905 года.

Жил в Ялте, в Аутке, в чеховском опустевшем доме, теперь всегда тихом и грустном, гостил у Марьи Павловны. Дни всё время стояли серенькие, осенние, жизнь наша с М. П. и мамашей (Евгенией Яковлевной) текла так ровно, однообразно, что это много способствовало тому неожиданному резкому впечатлению, которое поразило

нас всех вчера перед вечером, вдруг зазвонил из кабинета Антона Павловича телефон и, когда я вошел туда и взял трубку, Софья Павловна стала кричать мне в неё, что в России революция, всеобщая забастовка, остановились железные дороги, не действуют телеграф и почта, государь уже в Германии — Вильгельм прислал за ним броненосец. Тотчас пошел в город — какие-то жуткие сумерки и везде волнения, кучки народа, быстрые и таинственные разговоры — все говорят почти то же самое, что Софья Павловна. Вчера стало известно, уже точно, что действительно в России всеобщая забастовка, поезда не ходят... Не получили ни газет, ни писем, почта и телеграф закрыты. Меня охватил просто ужас застрять в Ялте, быть ото всего отрезанным. Ходил на пристань — слава Богу, завтра идет пароход в Одессу, решил ехать туда.

Нынче от волнения проснулся в пять часов, в восемь уехал на пристань. Идет «Ксения». На душе тяжесть, тревога. Погода серая, неприятная. Возле Ай-Тодора выглянуло солнце, озарило всю гряду гор от Ай-Петри до Байдарских Ворот. Цвет изумительный, серый с розово-сизым оттенком. После завтрака задремал, на душе стало легче и веселее. В Севастополе сейчас сбежал с парохода и побежал в город. Купил «Крымский Вестник», с жадностью стал просматривать возле памятника Нахимову. И вдруг слышу голос стоящего рядом со мной бородатого жандарма, который говорит кому-то в штатском, что выпущен манифест свободы слова, союзов и вообще всех «свобод». Взволиновался до дрожи рук, пошел повсюду искать телеграммы, нигде не нашел и поехал в «Крымский Вестник». Возле редакции несколько человек чего-то ждут. В кабинете редактора (Шапиро) прочел, наконец, манифест! Какой-то жуткий восторг, чувство великого события.

Сейчас ночью (в пути в Одессу) долгий разговор с вахтенным на носу. Совсем интеллигентный человек, только с сильным малороссийским акцентом. Настроен крайне революционно, речь все время тихая, твердая, угрожающая. Говорит, не оборачиваясь, глядя в темную равнину бегущего навстречу моря.

Одесса 19 октября.

Возле Тарханкута, как всегда, стало покачивать. Разделся и лег, волны уже дерут по стене, опускаются все ниже. Качка мне всегда приятна, тут было особенно — как-то это сливалось с моей внутренней взволнованностью. Почти не спал, всё возбужденно думал, в шестом часу отдернул занавеску на иллюминаторе: неприятно светает, под иллюминатором горами ходит зеленая холодная вода, из-за этих гор — рубин маяка Большого Фонтана. Краски серо-фиолетовые; рассвет и эти зеленые горы воды и рубин маяка. Качает так, что порой совсем кладет.

Пристали около восьми, утро сырое, дождливое, с противным ветром. В тесноте, в толпе, в ожидании схода, узнаю от носильщиков, кавказца и хохла, что на Дальнической убили несколько человек евреев, — убили будто-бы переодетые полицейские, за то, что евреи будто бы топтали царский портрет. Очень скверное чувство, но не придаю особого значения этому слуху, может и ложному. Приехал в Петербургскую гостиницу, увидел во дворе солдат. Спросил швейцара: «Почему солдаты?» Он толко смутно усмехнулся. Поспешно напил кофею и вышел. Небольшой дождь, сквозь туман сияние солнца — и всё везде пусто: лавки заперты, нет извозчиков. Прошёл,

ища телеграммы, по Дерибасовской. Нашел только «Ведомости Градоначальства». Воззвание градоначальника, — призывает к спокойствию. Там и сям толпится народ. Очень волнуясь, пошел в редакцию «Южного Обозрения». Тесное помещение редакции набито евреями с грустными серьезными лицами. К стене прислонен большой венок с красными лентами, на которых надпись: «Павшим за свободу». Зак, Ланде (Изгоев). Он говорит: «Последние дни наши пришли.» — Почему? — «Подымается из порта патриотическая манифестация. Вы на похороны пойдете?» — «Да ведь могут голову проломить?» — «Могут. Понесут по Преображенской».

Пока пошел к Нилусу. Вдоль решетки городского сада висят черные флаги. С Нилусом пошел к Куровским. Куровский (который служит в городской управе) говорит, что было собрание гласных думы вместе с публикой и единогласно решили поднять на думе красный флаг. Флаг подняли, затем потребовали похоронить «павших за свободу» на Соборной площади, на что дума опять согласилась.

Когда вышел с Куровским и Нилусом, нас тотчас встретил один знакомый, который предупредил, что в конце Преображенской национальная манифестация уже идет, и босяки, приставшие к ней, бьют кого попало. В самом деле, навстречу в панике бежит народ.

В три часа после завтрака у Буковецкого узнали, что грабят Новый базар. Уже образована милиция, всюду санитары, пальба... Как в осаде, просидели до вечера у Буковецкого. Пальба шла до ночи и всю ночь. Всюду грабят еврейские магазины и дома, евреи будто бы стреляют из окон, а солдаты залпами стреляют в их окна. Перед вечером мимо нас бежали по улице какие-то люди, за ними бежали и стреляли в них «милиционеры». Некоторые вели арестованных. На извозчике везли раненых. Особенно страшен был сидевший на дне пролетки, завалившийся боком на сиденье, голый студент — оборванный совсем до гола, в студенческой фуражке, набекрень надетой на заматанную окровавленными тряпками голову.

20 октября.

Ушел от Буковецкого рано утром. Сыро, туманно. Идут кухарки, несут провизию, говорят, что теперь всё везде спокойно. Но к полудню, когда мы с Куровским хотели пойти в город, улицы опять опустели. С моря повсюду плывет густой туман. Возле дома Городского музея, где живет Куровский, — он хранитель этого музея, — в конце Софийской улицы поставили пулемет и весь день стучали из него вниз по скату, то отрывисто, то без перерыва. Страшно было выходить. Вечером ружейная пальба и стучащая работа пулеметов усилилась так, что казалось, что в городе настоящая битва. К ночи наступила гробовая тишина, пустота. Дом музея — большой трехэтажный — стоит на обрыве над портом. Мы поднимались днем на чердак и видели оттуда, как громили в порту какой-то дом. Вечером нам пришло в голову, что, может быть, придется спасаться, и мы ходили в огромное подземелье, которое находится под музеем. Потом опять ходили на чердак, смотрели в слуховое окно, слушали: туман, влажные силуэты темных крыш, влажный ветер с моря и где-то вдаль, то в одной, то в другой стороне, то поднимающаяся, то затихающая пальба.

21 октября.

Отвратительный номер «Ведомостей Одесского Градоначальства».

В городе пусто, только санитары и извозчики с ранеными. Везде висят национальные флаги.

В сумерки глядели из окон на зарево — в городе начальство приказало зажечь иллюминацию. Зарево и выстрелы.

22 октября.

От Буковецкого поехал утром в Петербургскую гостиницу. Извозчик говорил, что на Молдаванке евреев «аж на куски режут». Качал головой, жалел, что режут многих безвинно-напрасно, негодовал на казаков, матерно ругался. Так все эти дни: все время у народа негодование на «зверей казаков» и злоба на евреев.

Солнце, влажно пахнет морем и каменным углем, прохладно.

В полдень пошел к Куровскому — город ожил, принял совсем обычный вид: идут конки, едут извозчики...

Часа в три забежала к кухарке Куровских какая-то знакомая ей баба, запыхаясь, сообщила, что видела собственными глазами — идти на Одессу парубки и дядьки с дрючками, с косами; будто-бы приходили к ним нынче утром, — ходили по деревням и по Молдаванке — «политики» и сзывали делать революцию. Идут будто и с хуторов, всё с той же целью — громить город, но не евреев только, а всех.

Куровский говорит, что видел, как ехал по Преображенской целый фургон солдат с ружьями, — возле гостиницы «Империаль» они увидели кого-то в окне, остановили фургон и дали залп, по всему фасаду.

— Я спросил: по ком это вы? — «На всякий случай».

Говорят, что нынче будет какая-то особенная служба в церквах — «о смягчении сердец».

Был художник Заузе и скульптор Эдварс. Говорили:

— Да, с хуторов идут...

— На Молдаванке прошлой ночью били евреев нещадно, зверски..

По Троицкой только что прошла толпа с портретом царя и национальными флагами. Остановились на углу, «ура», затем стали громить магазины. Вскоре приехали казаки — и проехали мимо, с улыбками. Потом прошел отряд солдат — и тоже мимо, улыбаясь.

«Южное Обозрение» разнесено вдребезги, — оттуда стреляли...

Заузе рассказывал: ехал вчера на конке по Ришельевской. Навстречу толпа громил, кричат: «Встать, ура государю императору!» И все в конке поднимаются и отвечают «Ура!» — сзади спокойно идет взвод солдат.

Много убито милиционеров. Санитары стреляют в казаков, и казаки убивают их.

Куровский говорит, что восемнадцатого полиция была снята во всем городе «по требованию населения», то-есть, думой по требованию ворвавшейся в управу тысячной толпы.

В городе говорят, что на Слободке Романовке «почти не осталось жидов!»

Эдварс говорил, что убито тысяч десять.

Поезда все еще не ходят. Уеду с первым отходящим.

Сумерки. Была сестра милосердия, рассказывала, что на Слободке Романовке детей убивали головами об стену; солдаты и казаки бездействовали, только изредка стреляли в воздух. В городе говорят, что градоначальник запретил принимать депешу думы в Петербург

о том, что происходит. Это подтверждает и Андреевский (городской голова).

Уточкин, — знаменитый спортсмен, — при смерти; увидел на Николаевском бульваре, как босяки били какого-то старика еврея, кинулся вырывать его у них из рук... «Вдруг точно ветерком пахнуло в живот». Это его собственное выражение. Подкололи его «под самое сердце».

Вечер. Кухарка Куровских ахает, жалеет евреев, говорит: «Теперь уже все их жалеют. Я сама видела — привезли их целые две платформы, положили в степу — от несчастные, Господи! Трусят-ся, позамерзли. Их сами козаки провожали, везли у приют, кормили хлебом, очень жалели...»

Русь, Русь!

5

Весь ноябрь и почти весь декабрь Иван Алексеевич прожил в Москве.

Пережил там и «вооруженное восстание», как тогда называли декабрьские дни в Москве, когда Москва покрывалась баррикадами; когда было разгромлено реальное училище Фидлера, «где заседали революционеры», когда грохотали пушки и стучали пулеметы, когда зарево озаряло пресненский район, — горела шмитовская фабрика, которую отстаивали большевики.

Иван Алексеевич заходил иногда к Горькому, который со своей второй женой Марьей Федоровной Андреевой, артисткой Художественного театра, занимал квартиру на Воздвиженке. Квартира была забаррикадирована, и вооруженные кавказцы охраняли писателя от нападения черной сотни, но никакого нападения не произошло, и они вскоре покинули Москву, уехали через Финляндию в Америку.

Иван Алексеевич купил тогда, — это делали почти все мужчины, — револьвер «на всякий случай», и после того, как Дубасов с Мином уладили Москву, ему не хотелось сдавать его в участок, как это было приказано. Он решил отвезти револьвер в деревню, когда отправлялся туда с братьями Пушешниковыми. Он положил его под свою высокую барашковую шапку, — потом удивлялся своему легкомыслию: «всякий жандарм мог ударить по ней, а что тогда было бы?...» Ехал он в первом классе, и никто его не обыскивал.

В Васильевском царил оживление: приехала погостить из Огнёвки Настасья Карловна, а с ней знакомая Софья Николаевна по Ефремову, молодая жена офицера, служившего в Смоленске.

Евгений Алексеевич решил после лета 1905 года расстаться с Огнёвкой и купить дом в Ефремове; в его округе летом было приблизительно то, что воссоздано в «Деревне» Бунина (в Дурновке). После пятнадцати лет работы супруги Бунины имели состояние и стали чаще бывать в Ефремове и присматривать недвижимость.

Когда гости на Рождестве собрались уезжать, Иван Алексеевич отправился с ними в Ефремов, где у Отто Карловича и встречал Новый 1906 Год. Память об этой встрече запечатлелась в стихах «Новый Год».

В этих стихах отразился его короткий роман с женой офицера. Летом он на несколько дней съездил в Смоленск, но, кажется, больше

сидел в гостинице, чтобы её не скомпрометировать, — муж у неё был болезненно ревнивым человеком. Иван Алексеевич говорил, что она была прелестна, на редкость легкая по характеру женщина, но жизнь её с мужем была нудной.

Весной опять Москва, Петербург, устройство литературных дел. Обычное времяпровождение — обеды у друзей, сиденье по ночам в ресторанах, затем опять Огнёвка, — где Иван Алексеевич повидался с отцом, который стал заметно сдавать, — и в Васильевское. Там он много писал стихов, переводил из «Золотой легенды» Лонгфелло и «Годиву» Теннисона.

Муж Маши был призван во время Японской войны, и она с матерью и детьми жила у Пушешниковых. Мария Алексеевна потеряла в этом году младшую дочь. Ласкаржевский еще не вернулся из Сибири. Она, по-бунински, не могла после смерти ребенка оставаться в Васильевском, и они все уехали к Евгению, который сам уже был на отлете. Иван Алексеевич остался у Пушешниковых, где и прожил несколько месяцев.

Есть записи об этом периоде:

«Глотова (Васильевское), 14 мая 1906 года.

Начинается пора прелестных облаков. Вечера с теплым ветром, который еще веет как бы несколько погребной сыростью, недавно вышедшей из-под снега земли, прелого жнивья. На востоке, за Островом, смутные, сливающиеся с несколько сумрачным небом, облачные розоватые горы. Темнеет — в Острове кукушка, за Островом зарницы. И опять, опять такая несказанно-сладкая грусть от этого вечного обмана еще одной весны, надежд и любви ко всему миру (и к себе самому), что хочется со слезами благодарности поцеловать землю. Господи, Господи, за что Ты так мучишь нас!»

«Из окна кухни блестящие куриные кишки — петух сорвался с места и, угнув голову, быстро, мелко, деловито подбежал, сердито рвет, клюет, обматывает кишку от кишки. Отбежал — и опять набежал, роет».

Летом Иван Алексеевич поехал в Огнёвку, и оттуда со всеми, кроме отца и Настасьи Карловны, в Ефремов.

Остановились на подворье Моргунова. Есть записи его:

«16 июня 1906 г. Ефремов.

Переезд с подворья Моргунова в дом Проселкова, который мы сняли весь за 18 рублей в месяц. От Моргунова впечатление гнусное. Двор в глубоком сухом навозе. Мрачная опухшая старуха, мать хозяйина, в валенках... Такие горластые петухи, каких, кажется, нет нигде, кроме постоялых дворов.

Вечером в городском саду. Есть кавалеры и девицы с подвязанными гусками — зубы болят. Некоторые из девиц перед отправлением в сад, моют дома полы, корову доят, а в саду для них гремит как-уок».

В начале июля приехал из своей заграничной поездки Юлий Алексеевич. А затем вернулся и Ласкаржевский с войны, привез всем подарки, больше всего чесучи, — всех одел в неё.

Разгон Государственной Думы произвел большое впечатление на всю их семью, а на Ефремов это событие не произвело большого впечатления.

Конечно, без конца обсуждали и причину разгона Думы и

«Выборгское воззвание», получали от друзей письма с подробностями, но ясно всего не представляли. Юлий Алексеевич, как всегда, в самом конце июля должен был возвращаться к работе в редакцию. На этот раз он даже не жалел, что отпуск кончается, а Иван Алексеевич его не удерживал, — так было интересно, чтобы Юлий Алексеевич повидался с редакцией «Русских Ведомостей».

В конце августа Иван Алексеевич съездил в Огнёвку. Это было последнее свидание с отцом, — он еще постарел, но все же не вызывал тревоги за жизнь, по-прежнему, несмотря на слабость, был бодр, шутил, называл себя «Дрейфусом на Чортовом острове», — жаловался он только в шутках.

6

В первых числах сентября Ивана Алексеевича потянуло в Москву. Хотелось самому понять политическое положение, в какое попала Россия после разгона Государственной Думы, повидаться со столичными друзьями, узнать от них то, что не попадает в печать.

В Москве оставался недолго. Много времени проводил с Юлием, который всегда очень хорошо разбирался в политических событиях. Побывал на даче у Телешовых. И поспешил в Петербург. Остановился в Северной гостинице, — из окон его номера был виден памятник Александру III-ему на площади перед Николаевским вокзалом.

Познакомился он со Свечиной, близкой подругой Яворской. Из Одессы в это время приехал Федоров тоже распродавать свой литературный урожай, как всегда, по его мнению, необыкновенно хороший, «никогда я так не писал!» Они много времени проводили в ресторанах и кабаках, много пили в бессонные ночи. Бывали и на литературных собраниях, где входил в славу Блок и другие символисты.

Однажды они с Федоровым, после обеда у Палкина, придя в хорошее настроение, на извозчике стали сочинять совместно нелепое «декадентское» стихотворение, — один придумает строчку, другой вторую — и так, смеясь, сочинили несколько строф и приехали на сборище поэтов, может быть, и на башню Вячеслава Иванова.

К сожалению, я не записала этих виршей. Начинались они так: «О вечный, грозный судия, по улице две...» Осталась в памяти еще строчки: «Шпионы востроносые на самокатах жгут. Всем задаю вопросы я, вопросы там и тут»...

Когда они с Федоровым явились на это сборище, Бунин с задором сказал, что, вот, они только-что прочли новые стихи, в которых ничего не понимают. И он с большим пафосом продекламировал их. Аничков, профессор литературы, вскочил и с запальчивостью воскликнул: «Что-ж тут непонятного...» и стал объяснять.

Бунин, не выдержав, перебил восторженного критика:

— Да мы с Федоровым сейчас на извозчике всю эту белиберду насочинили.

— Вы сами не понимаете, что вы сотворили, — это гениально! — возопил со свойственным ему темпераментом Аничков.

— Но позвольте, — смеясь возразил Федоров, — я понимаю, если бы один из нас создал их, то можно было бы говорить о гениальности автора... Но ведь мы же вдвоем, по очереди, выдумывали эти бессмысленные строчки...

Поднялся крик, шум, чуть дело ни дошло до дуэли между Аничковым и Буниным, но... в конце концов все уладилось...

К октябрю опять Бунин вернулся в Москву, и я второй раз в жизни увидела его у постели несчастного поэта Пояркова. Вид у Бунина был все же свежий, понравился хорошо поставленный голос. Вскоре я услышала, что он опять укатил в Петербург, где вёл жизнь еще более нездоровую, чем в сентябре; проводил бессонные ночи, перекочевывал из гостей в рестораны. В Петербурге даже в частных домах начинался вечерний прием чуть ли не с полуночи, и иногда самая тесная компания засиживалась до шести часов утра, как например, у Ростовцевых.

Есть письмо этого времени к Петру Александровичу Нилусу, письмо покаянное: в нем Бунин клянет себя, что «жил в Петербурге безобразно», стал кашлять. «Завтра отправлюсь к врачу, — писал он. — Если врач найдет что-нибудь серьезное, то я поеду на юг». Что нашел доктор, я не знаю; вероятно, ничего угрожающего. И Иван Алексеевич остался в Москве.

В ту осень стал выходить «Перевал». Его издатель Ланденбаум, молодой человек, большой поклонник Бунина, назвал журнал «Перевалом». «В честь вашего рассказа», говорил он Ивану Алексеевичу у Яра, когда возил всех своих сотрудников по ночным ресторанам.

Остановился Иван Алексеевич опять в меблированных комнатах Гунст; — вблизи Юлия Алексеевича, с которым вошло в привычку видаться каждый день, — ему нравился тихий переулочек в этой части Москвы.

Часто в этот приезд бывал у Телешовых, и Елена Андреевна строила планы: ей хотелось предоставить Ивану Алексеевичу рядом с ними маленькую квартиру. Телешовы недавно переехали на Покровский бульвар в дом ее брата А. А. Карзинкина, который жил в большом особняке. Из синей, со старинной мебелью, его гостиной открывался чудесный вид на Кремль.

Елена Андреевна понимала, что Иван Алексеевич страдает от своего одиночества и потому так мечется по белому свету. Она высоко ценила его, как поэта и писателя, понимая, что гостиничная жизнь в Москве вредна и для здоровья и для писания.

Они обсуждали это: «Если вам будет скучно, — мечтая, говорила она, — вы всегда можете притти к нам, а если мы надоели, то вы будете сидеть у себя. Один минус: далеко от Юлия Алексеевича, но раз в день можно и к нему слетать на извозчике, да и в Кружке вы можете встречаться; будете с Колей туда ездить...» Елена Андреевна и мне рассказывала об этой её мечте. Ивана Алексеевича трогала заботливость такой незаурядной женщины, которую он очень любил, но он отвечал, хотя и с искренней благодарностью, но как-то неопределенно.

За 1906 год написано был 26 стихотворений, среди них:

«Ветви кедра — вышивки зеленым», «Панихида», «Люблю цветные стекла окон», «Дядька», «Гемдаль», «Огромный, красный, старый пароход», «Петров день», «В порту», «Стрижи», «Растет, растет могильная трава».

В этом же году вышли «Третий том» его стихотворений в «Знании» и перевод «Каина» в издательстве «Шиповник».

4 ноября 1906 года я познакомилась по-настоящему с Иваном Алексеевичем Буниным в доме молодого писателя Бориса Константиновича Зайцева, с женой которого, Верой Алексеевной, я дружила уже лет одиннадцать, как и со всей её семьей. У Зайцевых был литературный вечер с «настоящими писателями: Вересаевым и Буниным», как сказала мне Вера Алексеевна, приглашая меня.

Вернувшись из химической лаборатории, я, наскоро пообедав и переодевшись, отправилась к Зайцевым. Шла быстро, боясь опоздать к началу чтения, — жили мы очень близко. И никакого предчувствия у меня не было, что в этот вечер наметится моя судьба.

Я никогда не хотела связывать своей жизни с писателем. В то время почти о всех писателях рассказывали, что у них вечные романы и у некоторых по несколько жен. А мне с юности казалось, что жизни мало и для одной любви.

По дороге я представляла себе двух «настоящих» писателей», обоих я видала: В. В. Вересаева в Художественном Клубе на реферате о его «Записках врача», когда шел бой между поклонниками этого произведения и порицателями. Была я минувшей весной в Петербурге на его вечере, где он читал свое произведение. Это был невысокий, с широкими плечами, человек, лет сорока, с лысиной и в очках на большом плотном носу. Мне было интересно читать его произведения, — в них он писал о молодежи и о «проклятых вопросах», которые я не умела разрешать. Облик Бунина был совершенно иной: при встречах я видела стройного человека, выше среднего роста, хорошо одетого.

О Бунине в Москве уже говорили. Некоторые мои знакомые ставили его выше «декадентов»: Брюсова, Бальмонта и других, ценили книги его стихов, особенно те, кто жил в деревне и чувствовал природу. Были среди них и поклонники его прозы. Одна приятельница мамы читала наизусть отрывки из его «Сосен».

Я с детства любила литературу, недурно её знала, следила за всеми новинками. Чтение было одним из моих любимых занятий. Писатели интересовали меня, но я их сторонилась. Никогда не обращалась я с просьбой к Зайцевым позвать меня к ним, когда у них кто-нибудь из писателей бывал запросто. Но молодых, московских я всё же у них встречала, как, например, Койранского, Высоцкого, Стражева (который бывал и у нас и которого я и познакомила с Зайцевыми), но я не относилась к ним серьезно: уж очень все они еще были молоды. Встречала их и в Художественном Клубе.

В том году (о чем я после узнала) Ивану Алексеевичу только что исполнилось тридцать шесть лет. Но он показался мне моложе.

Я знала, что он был женат, потерял маленького сына и с женой разошелся задолго до смерти мальчика. Знала и мнение матери Лопатиной, что причина болезни Екатерины Михайловны — женитьба Бунина. Это мнение разделяла и моя мама. Говорили также, что до женитьбы Иван Алексеевич считался очень скромным человеком, а после разрыва с женой у него было много романов, но с кем — я не знала: имен не называли.

Иногда я думаю, почему я не назвала себя, — хотя он назвал себя, — когда мы встретились с ним у постели больного Пояркова?

Правда, я была еще очень застенчива, но, может быть, и из-за подсознательного страха, что вдруг увлекусь. Но, видимо, прав русский народ, говоря, что «суженого конем не объедешь».

Вот с каким сложным и столько уже пережившим человеком мне пришлось 4 ноября 1906 года по-настоящему познакомиться и потом прожить сорок шесть с половиной лет, с человеком ни на кого не похожим, что меня особенно пленило.

Подробно о нашей встрече с Иваном Алексеевичем я написала в своих неопубликованных воспоминаниях.

Отделила я «Жизнь Бунина» от своих воспоминаний потому, что у меня очень различное отношение к нему: одно — к тому периоду, когда я его не знала, а другое — в пору нашей совместной жизни. Такое же разное восприятие у меня и его произведений: напечатанным до меня, и совсем иное — к написанным при мне.

Удалось ли дать его подлинный образ, судить не мне, я старалась даже в самых для меня трудных местах быть правдивой и беспристрастной, — насколько это, конечно, в силах человека.

Париж, 4 декабря 1957 года.

ACHEVÉ D'IMPRIMER
EN OCTOBRE MIL NEUF CENT CINQUANTE-HUIT
SUR LES PRESSES DE L'IMPRIMERIE UNION
13 RUE MÉCHAIN
PARIS

